

Василий КИЛЯКОВ

РОДНОЕ ПЕПЕЛИЩЕ*

Повесть

У птицы есть гнездо,
У зверя есть нора...
Как бьется сердце Горестно и громко...

И.А. Бунин

В доме Волчихиных радость: со службы вернулся сын Антон, отслужил срочную. По нынешним временам дело нелегкое. Да как отслужил! Ни в дисбат не попал, ни на войне не ухлопали. Должности от каптера до писаря менял в Челябинске, а уволился из Москвы замкомвзвода. На последнем году выслал деньжат родителям, не кланчил, как другие. Этим особенно гордился отец, Серафим Волчихин:

– И никто из этих, с академическими значками, инспекторов-дознателей, никто ни разу не поймал его за руку.

Из Москвы на скором поезде до Сасово ехал Антон в двухместном «офицерском» купе, потом электричкой до Кустаревки. Места потянулись глухие, медвежий угол, родина. Люди голодные, злые.

Промокшие мужики косятся на молодуху в юбке из короткой замши и в лосинах. Ехал, следил в окно за ворохами ржавой неубранной соломы на полях, диву давался: косые хибары повалились, жизнь серая... Озимые реденькие, недород будет. А то все перегон за перегоном – целина, земля гуляет, так не было...

Старшины погоны – толстой ленты золоченой галун вдоль, аксельбанты десантника не без гордости прятал он небрежно под кожаной курткой, будто от патрулей. И когда электричка на родимой станции со свистом раздвинула двери, открылась насыпь внизу без платформы, удивился. Сзади торопили: «Прыгай, служивый!» Кинул вниз вещмешок, прыгнул с дипломатом вниз. Крутизна насыпи, крупный гравий рыжий. Бежал под откос, догоняя мешок.

* Новая редакция. Специально для «Бийского Вестника»

Василий Васильевич КИЛЯКОВ родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе, служил в армии. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался во многих российских журналах. Лауреат Всероссийских литературных премий «Традиция», им. Б.Н. Полевого, премии «Умное сердце», премии «Дойче Велле» (Берлин) и др. Обладатель «Бронзового Витязя» Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», международной премии по литературе «Югра». Член Союза писателей России.

Живет в городе Электросталь Московской области.

– Эва, – дивились над ним местные, – в Ольховку пешочком, парень? Это тебе бы проще дальше ехать, через Таировку. А тут утопнешь – ишь, залило ныне...

К электричке ходили теперь со стульями, иначе не влезешь... Непривычная эта дикость, оторванность почему-то были стыдны теперь, как пощечина. «Дачки, дачки кругом, – озирался Антон, – дачки строят вместо домов-кормильцев. Вот она, жизнь-то: хозяев не стало, одни гости...» Крякнул, подхватил солдатский мешок с ляжкой-соплей и по шпалам, по гребню. Кругом грязь весенняя, непролазная, в лужах синь небесная распущена пополам с солнцем. Жизнь, забытая среди болот, нереальная, как бы в ином измерении... Во снах и воспоминаниях брал Антон от этой действительности по частям, вперед, авансом проживал счастье возвращения, и вот темная какая-то запущенность – все не так теперь переживалось.

Покурил, двинул бродягой по старым местам. А прошлое цепляло, держало. Клуб совхозный каменный, как литой, как крепость, широкий, в два этажа. Их в «застойные» вместо церкви строили, на века. А вот и больничка при школе – все цело, только кинута. Штукатурка отвалилась, зияла содранной кожей, а под ней – плоть «мясная», красного кирпича... Здравствуй и ты, река бурлящая, мутная водица, – дважды не войдешь не потому, что изменишься, а такая холодная. Мост снесло, по перила закипает вода, похоронила в себе переправу: думай, прохожий, как на перепутье. А там, за рекой, дремуче-черен лес вдали, вон и крыша красная – отчий дом под тополями. Глядеть – через капли пота, через слезы: дичь какая!

И родное, и не родное... Колеса трактора, динамо, резина старая, борона и косилка – все утонуло в сухом бурьяне. Солнце смелело, дикая кошка на резине трактора грелась на солнцепеке. На сухое выбрался, поменял сапоги. Портянки стоптанные в сторону, сапоги в мешок. Птичья возня в балке, шелк. Ну, теперь рукой подать...

Ольховские только ахнули, когда Антон явился в родное гнездо. «Легко ли, легко ли, – говорили ольховские, – легко ли в самую росторонь, в самую что ни на есть страсть и распутицу отмахать с большака семнадцать верст?!»

Дивились ольховские и тогда, когда шел солдат улицей, растворяли окна, выходили на крыльцо, здоровались издали. Новая обмундировка Антона блестела пуговицами, на голове берет десантника сиял кокардой. Богатый кожан так широк, что за плечами не видно зеленого солдатского вещмешка; в руке он нес черный ящик, погородскому – «дипломат».

Когда Антона спрашивали, как добрался, он лихо прикладывал руку под козырек, к синему берету, отчеканивал шутливой армейской скороговоркой:

– Напрямки, по-десантному!

Бабка Груня Тырина, поуличному – Колдунья, тяжело шмыгая валенками в калошах, вышла на улицу при клюке. Поправляя седые волосы, косо сбившуюся в сторону шаль, она вдруг подняла руки, вскрикнула:

– Внучек, родимый! Дай-ка я тебя расцелую!

– Здорова, бабка Груня!? – радостно удивился Антон. – Поклон тебе от десантников!

– Ой, родимец, дясантник, дясантник... Аки с небес выпал, аки андел явился... – блажила бабка с

дрожью и удушьем. – А третьего дня к нам трактор не прошел, на полпути засел...

Антон поставил на землю чешский дипломат, как перед командиром одернул полы, обнял Колдунью.

– Ну весь, весь вылитый дед Назар, – прослезилась бабка. – Такой же был в молодости статной, ядреный, горделивый... Дак а зеленый мешочек-то ай в дороге потерял? Ай сперли?

Антон засмеялся, попенял бабке:

– Ну, бабуля, вы тут и живете!? Как здоровьице?

– И-и, внучек! Какую нам пришел, конец, – тяжело дышала бабка, грудью опираясь на клюку, смаргивая слезы. – Без хлеба сидим, а бывает, и без света... И тут бабка ни с того ни с сего стала корить дочь:

– Уехала с зятьком, у них я не в почете, а гляди-ка, у кого мать не в почете – век в добре не живет, ей-бо, не живет...

– Верно, верно, бабка, – поддакивал Антон, плохо понимая, о чем толкует она. Весь ее вид: засаленная телогрейка, тяжелое дыхание, исплаканные старческие глаза – все пробуждало грустные чувства. Сердце рвалось домой, но бабка дрожащей рукой держала внука за локоть.

– ...Одна-одинешенька, яко перст. Ни тебе поесть, ни попить чайку, уся заклекла, сердчишко почернело... Глянь-ка на наши Палестины, что деется, что деется-то, господи! Люди аки птицы перелетные: дома, скарб – усе бросили, дотлеваем.

Под предлогом кваску испить затащила бабка внука в дом, говорила – уши резала:

– Гляди, тырло какое осталось, – показывала она свой покосив-

шийся дом, – не чаяла перезимовать. Думала, замерзну на лавке под святыми, ан нет – весны дождалась, тебя встренула... Лихой народ тут по избам шшелкает, ломают двери в забитых домах, иконы воруют. И зачем оне им: не молятся, а иконы любят?

– Продают иконы...

– Как?

– На деньги меняют.

– И-и, грех-то... Да вот и мы тут без тебя, когда одни, боялись.

Антон, ослабев от холодного кваса «с гнидами», то бишь на ржаной муке, – растянулся на кровати в сенцах у бабки, скинув обувь.

– Тут у нас какая беда приключилась, не приведи бог. Убери-ка ноги, соколик, я тебе расскажу...

Уселась на краешке лежака, с устрашающим видом начала рассказывать, как в соседней деревне, тоже глухой, с заколоченными домами, брошенными подворьями, пришли мужики к одной старушке. Жила старушка на краю деревни.

– Пришли ночью, пьяные оба, пьяней вина, да, видать, мало. Ты слушай, мотай на ус, да не забывай закрывать двери. Ну, пришли, стучат: открывай, свои... Дарья, я ее знаю, Дарья не открывает. Они шибче грохают: открой, мать-перемать, не откроешь – дверь высадим. Открыла. Мужики молодые, незнакомые, незнамые, одеты по-городскому, странные... Она мне сама-то после рассказывала. «Давай, бабка, самогон!» А она им: «Нету, не гоню, боюсь власть...» Они опять: «Какая такая власть, ее нету, ныне прула...»

– Плюрализм?

– Ну да, так-то, верно, сказали. Влезли, деньги вынули с-под икон, поминальные, господи. Водки давай, хоть роди, а давай. А Дарья для дров купила в сельмаге

очищенную, по спискам продавали нам вон еще когда...

– Какую очищенную?

– Ну водку настоящую. Он опять все «какую». Что ты, соколик, как отслужил, какой-то непонятливый стал, ай вас там, в армии-то, заучивают до беспамяти? Отдала Дарья, закуски нарезала. А они что исделали, озорники-то: открыли подполье, старуху туда кинули, свалили грубку, печку-то на лаз. Уж на другой день ее вытащили, обмороженную. В больнице и померла. Вот какая банда шляется, вот чево вычужают...

– Что ж никто не защитил, не слышали, как в дверь ломились?

– Что ты, малый, в Прохоровке-то? Да ай ты не знаешь Прохоровку? Там давным-давно все поразьехались, зимуют три старушки: Клебяшка, Красота да Ягодка. Да вот Дарья... Ну, теперь Бог прибрал, поминать ходили. Ты ее не знал, Дарью-то? Она моя подружка была, сиротой ее тетка растила. Трясцы им, душегубам...

Бабка погрозила окнам кулаком, Антон засмеялся неволью, прихлопнул смех.

– Вот, ему смешно... Я к чему тебе говорю-то: закрывай двери крепче.

– Чего же они взяли у Дарьи?

– А иконы, соколик. Весь киот ободрали. У нее ведь изба моленная была. В войну молились, ходили к ней. И молодые, вот как ты, такие же. А иконы такие, старинные, мамкины еще, с клиньями и старые-престарые. А одна, «Скоропослушница», мироточила в войну. Вот как озоруют ноне. Ну, говорят, ищут их, похоже, найдут. Убралась Дарья, царствие ей небесное, убралась на тот свет...

– Свет один, бабуся.

– Ну-ну, один... А ты знаешь,

грамотей? Ну ступай, ступай с Богом, вот мать-то с отцом обрадуются, какой ты есть...

Солнце горело ярко, грело в открытую дверь, в сенцы; травка, редкая и веселая, пробивалась к свету. Ослепительно блестели в разбитых колеях лужи; мир большой за дверями: свежий ветер играет верхушками тополей, ворошит прошлогоднюю лебеду. В высоком небе быстро плывут редкие белые облака. И светло, радостно.

– ...Аки в прошлую войну: соль, спички берегём пуще глаза. На Хрещение свет погас – монтера не докличешься. А постом моя Катюха приезжала с зятьком. Кинулись было в передний угол иконы снимать. Я – горой, караулом отстояла, аки солдат боевой...

– Как это «караулом»? – не понял Антон, засмеялся.

– Карау-ул! – орала. Отстояла-таки. Зять – какой он зять, и с работы выгнали, знать, стоит того. Я два дня лежала от его кулака, отлежала, очумаркалась. Ну иди, меня не переслушаешь. Мать-то обрадуется. Иди, спаси тебя Христос...

– Приходи в гости, – бросил на прощание.

А бабка все стояла, широко расставив ноги и опираясь на клюку.

Через яму перемахнул, где была пекарня – рухлядь. Растоптали шифер, возили жечь, кирпичи, тяжело тащили: следы глубокие, и дальше – телега сухо пошла, легко. По твердому пропадали следы, словно кверху поднимались, взлетели.

Красная крыша отчего дома шелушилась. Завалинку, забранную досками, дожди сгноили, размыли. Из глины торчит фундамент, белый сланец, – не миновать поправлять к осени. Починять надо, что-то думать...

Дом высок, обманчиво хорош под тополем-гигантом. Тополя освежали, подчеркивали мирное житье, домашнее. А что огромен-то! Сучья – внаклон, громадные, развесились: крест осеняющий.

За обшитой стеной сруба услышал отец поступь и треск. Антон не распутывал проволоку на загорожке – перемахнул через прясло. Два года назад, помнил он, доила тут Любаша корову. Бегали в подойнике, догоняли одна другую струи молока, били в ведро, взбивали пену. Вскипало молоко, играло, а он смотрел на Любашу, в разрез ее сарафана, на дразнящие глубокие подмышки, замирало сердце...

Вот оно, утро, долгожданное утро дембеля!

...Танцуют струйки, взбивают пену. Памятное вспыхивает и сгорает. Любаша теперь в Рязани. Дом ее напротив даже и не забит – в три окна, крест-накрест, словно теперешнее житье и не стоит того... Дом-«бессрочник» глядит на остатки деревни, на лес через бурьян, – а и всего-то осталось. Болит сердце, отыскивают глаза Любашу, а чего отыскивать – поздно, пусто...

Солнце дрожит, растворяется в слезу, в каплю пота. За стволами яблонь – оттуда приходит солнце, оттуда шел дождь и ветер. И не надо всматриваться в дали, горизонт полей ясен, как солдатские сны, дразнит и отвергает. Много зеленого, золотого и синего, а по сути одно...

Не думать, разучиться думать, рассыпать мысли, получать счастье!.. А где-то Москва, Челябинск... Сумасшедшие дискотеки... А тут вся жизнь – у кривого осинового кола. Куры клюют-стучат в алюминиевые пустые чашки. Смотрят пустыми глазами-окнами

брошенные избы... Жижга, грязь и навоз. Белые ноздреватые камни. Да полно, и впрямь ли где-то объедаются, вскрывают «мировые тайны», вечные вопросы решают?

Мокрые, блестят на солнце мшистые углы, наличники облупились, частокол палисадника покосился... Сердце солдата радостно забилося, он вбежал на крыльцо, не затворяя сеней, открыл дверь в кухню. Ботинки покрыты глиной, на берете бисер росы. Мать кинулась на грудь, пришел со двора отец, радостно обнял сына. От высоких ботинок Антона стояла на полу грязная лужа. Солдат разулся, разделся. Серафим глянул на ноги сына и ахнул: ступни Антона кровоточили мозолями. Отец достал с полки йод, осторожно смазал сыну раны:

– Держись, генерал, лечить буду. Мать, дай-ка ему что-нибудь на ноги, мои штаны достань, евоны тесны ему будут.

И уже весело шутя с сыном, встал, хлопая по плечу, говорил:

– Ну, брат, подрос ты! И в плечах, глянь-ка, раздался – и вправду генерал!

Нюра, слушая болтовню мужа, полезла в кованный старинный сундук, достала брюки, свежее белье. Роясь то в шкафу, то в сундуке, она думала о хлебе. Осмелев, спросила сына, смущаясь и краснея лицом:

– Антоша, ты хлебца не догадался купить?

– Какого хлебца? – не понял Антон.

– Да это я так, ладно... К задумкам моим пришлось... – и, отвернувшись, досказала: – Хлеба нету. Ни проехать, ни пройти. Не Ольховка, а яма гнилая. Как ты дошел-то?

Антону вновь пришлось рассказывать, как он «шел напрямки», то мелколесьями, то краями

оврагов... Отец, расставляя стулья, тоже ворчал:

– Дела-делишки... На сухарях сидим, да и оне кончаются, труха осталась, крошки... Теперь и летошные жамки-кренделя доедим. Бывает в жизни огорченье: хлеба нету – ешь печенье...

Между тем мать собирала на стол. Принесла из погребка моченые по-старинному антоновские яблоки, к холодцу натерла хрен, налила щей и поставила баранину на деревянном кругу.

Антон, усаживаясь в передний угол на широкую лавку, жадно смотрел на домашнюю снедь, а мать все еще носила, ставила беспорядочно: мед, свойскую сметану – ставить все сразу было обычаем в Ольховке, так встречали дорогих гостей с незапамятных времен.

– Перед тем как встать, утром, сон я видела... – говорила мать. – Будто бы выдернутый зуб у меня прирос. Кровища рекой лилась. Ну, думаю себе, к родной крови. Не верила, что сны сбываются, а вот сбылось, явился наш Антоша.

Отец и сын уселись за стол. Мать все еще гремела ухватами, жарко топилась печь. Ели без хлеба густые наваристые щи из баранины-солонины с квашеной капустой.

– Кушай, сынок, к вечеру оладки спеку...

– Картошку ездили меняли на муку, – пояснил отец.

– Да хлеб-то что, – отзывалась мать из-закута, – хлеб-то что, – говорила, легко, как девочка, влезая по приступкам на печь за сухарями. – А вчерась к свекровке, Тыриной старухе, за солью бегала. Взаимы взяла полную солонку. Ей пуда два тракторист привез за две бутылки самогона... Натек-ка, вот вам сухари, погрызите. А что поделаешь? На безрыбье и рак рыба.

И с этими словами Нюра прыгнула с высокой нижней приступки, подошла к столу с торбочкой сухарей, пересушенных и мятых. На дне и вовсе перемялись в крошки. Антон хлебал щи, слушал, что говорили мать и отец, ушам своим не верил. Он знал, что до призыва в армию запасались хлебом, ели черствый, а когда хлеб начинал портиться и покрываться зеленой плесенью, не клали его на печь, скармливали курам и свиньям. И как-то за дешевизной хлеба не замечали его ценности. А теперь вот без хлеба попробуй съешь баранину...

Щи вкусно пахли укропом, разварившейся в вольной печке капустой, а есть не хотелось. И только из уважения к матери Антон хлебал, деревянной ложкой таскал куски мяса со дна чашки.

Печеный хлеб... Было волшебное слово «хлеб» – тот запах, теперь уже забытый, приступами подходил к горлу, этот аромат и вкус... Томный, густой, пряный дух каравая, широкого, как шляпка белого гриба-колюсовика на Успение, – тот хлеб, за которым ездил он босяком в детстве на запятках хлебозова до совхозной пекарни, чтобы только отломить корку, почувствовать на зубах еще раз хруст подгорелой и жевать до спазмов в скулах и горле горячий тягучий мякиш...

– А что же в лавке-то, не торгуют хлебом? – спросил Антон, опять вспомнив молодую продавщицу Любашу, сероглазую.

– Лавку прошлой осенью закрыли, – говорила мать, горстями насыпая в чашку мятые сухари. – Любаша замуж вышла, из Выселок тракторист взял. Да и чем ей торговать? Ни осенью, ни зимой, а пуще всего весной ни проехать, ни пройти. Теперь, когда

проехать можно, возят хлеб, почти с оказией... О нас забыли. Да тут и живут одни старики, старухи да Петя Дрова-Нога. Мы вот, дураки, самые молодые тут. Сама виновата, маху дала, одна не уехала, сестра звала в город. Теперь и вовсе страшно жить. Все тут растаскивают, гноятся дома пустые. Ходят незнамые-незнакомые людишки, меняют иконы на консервы рыбные, на колбасу копченую, импортную... Я за мамкину икону выменяла две каталки сервилладу. Самогоном тоже интересуются...

– И Бога за колбасу-то не жалко, – засмеялся отец, как всегда подначивая – и трезвый, и во хмелю. – Иконостас родителей, глянька, разорили... Вот тебе и Бог, ха-ха-ха...

– Сиди уж, богомolec! – осерчала мать. – Сам же враз стесал, умял целую каталку. Я стояла-стояла, все глядела, оставит, думаю, – ан нет, всю сожрал. А теперь гляди-ка, мелет что попало, про Бога вспомнил.

– Да это я так, шутю... Чего ты уж разошлась...

– Ну и сиди, говорю, сухари грызи! – вовсе озлилась Нюра, а Серафим и ухом не повел; сидел он грузно, тяжело навалившись на край беспорядочно уставленного стола.

Солдат, сколько помнил родителей, не обращал внимания на ссоры, ел и все улыбался, поглядывая на них. И ничто не изменилось. Вот только мать стала злее прежнего, еще похудела, позеленела лицом. Отец – наоборот, поправился, отрастил брюхо и заметно постарел. За собой не следил, дня три не брился, даже рубаху не сменил. Сидел он с запухшими влажными глазами, почти не ел.

– Налей-ка нам поманеньку, – умолял он Нюру, все ходившую

туда-сюда; она почти бегом носилась из кухни в горницу. – Налей-ка поманеньку...

– Сичас! – ругалась Нюра. – Жди!

Мать отстряпалась, села к столу бочком, стала хлебать щи торопливо, как едят все нервные женщины в деревне, задерганные домашними заботами. Антон отложил ложку в сторону, жалостливо рассматривал мать, ее худые плечи, редкие волосы.

– Ешь, ешь вдосталь, – говорила мать Антону. – Яблоки пожуй... Мочили по-старинному, я у матери-покойницы научилась.

– Я наелся, спасибо, мама. Тут на целый взвод всего наставлено.

Отец тоже не ел, понимая, что Нюра не нальет, что просить бесполезно.

– У-у, ку-уда! Злая! Вот и хозяйка! – торопился, дожевывал, дыша гнилым перегаром, ворванью. – Сгорела наша жизнь, Нюраха, впустую, только вонь пошла...

Вылез из-за стола, пристроившись возле печи на табурете, начал зашивать голенище ялового сапога. Самодельная дратва, сученная из суровых ниток, просмоленная варом и отшлифованная мылом, скрипела в тесной плоти голенищ. В уголке рта у него дымилась папироса; он ловко перекаладывал ее языком и дымил беспрестанно.

– Перед Новым годом, – говорил Серафим, зашивая в сапоге прореху, – запуржило так, что света белого не было видно. В сумерках пришел домой от скотины совхозной, глядь – огонек напротив, у бабки Феклы. Ну, думаю себе, явилась пропажа. Утром приносила топор поточить, хлеба краюху принесла, где-то расстаралась... Я не взял, у нас свой был. Да. Ну, я обещался, пошел. Подхожу – что

за диво: огонька нет, слышу – стучит. Зашел со двора – шуруют: один светит, в руках свечка, другой что-то шарит в сенах. Один малой, другой длинный и широкий в костях. Длинный на меня зашипел как змей: «Вякнешь – язык отрежу... Мы, – грит, – тут хоть и проходом, а найдем тебя...» Вытащил ножик, таким у нас свиной режут. А малой: «Сам уйдешь, – грит, – или вынести?» Я сразу вспомнил участкового, а он в центральной усадьбе, да и там-то не всегда застанешь. Высокий ко мне, а я пятками, бочком – шмырк. Что они искали, не знаю. Спросил я после, на другой день Феклу, нет ли, мол, пропажи, намекнул. А она: «Я сама гол как сокол. У меня и брать нечего. А чево? Был кто?» А я ей: «Да это так, ходили тут какие-то...» Теперь запираемся на два замка: и уличную дверь, и со двора. А спать ложусь – топор имею в виду, так и держу возле порога...

Антон и верил, и не верил отцу: выпил, несет, что попало, фантазирует. Засмеялся:

– Ну, батя, разговорился... Прямо это, страшно стало... Чече-ны, что ли, завелись?

Нюра, похватав горячих щей с сухарями наскоро, не слушала болтовню, но, как только Серафим начал говорить про воров, навострила уши.

– Чево-чево? – спросила.

– А ничего, проехали, – Серафим выплюнул окурочек себе под ноги, сплюнул между колен.

– А что же ты мне не сказал?

– Тебе знать не надо, разболтаешь. А мне языком расплачиваться. Молчок. Глядишь – гляди, сопи в две дырки и помалкивай...

В горнице густо пахло маринованным укропом, жирной бараниной и сложным кисло-затхлым

духом, свойственным лежалому хлебу и старым размоченным сухарям. В глиняной большой чашке сухари плавали плотной шубой. Ела сухари только Нюра, с отвращением, – жаль отдавать такое добро свинье или курам.

Наевшись, Антон сидел у окна на лавке. Небо расчистилось и сплошь ярко голубело. Он растворил окно настезь, закурил, любясь свежей травой, блеском травы в палисаднике. Из беспорядочных разговоров отца и матери он когда-то впервые услышал слово «бесперспективная». «Ольховка давно бесперспективная», – говорили отец и мать.

До службы Антона не волновало это слово, оно как-то затерлось в памяти. Теперь вспомнил, как нагретыми руками писались статьи про хутора, деревеньки, а в клубе после киносеанса «Унесенные ветром», на который можно было попасть за горсть орехов, – после сеанса киномеханик ругался с управляющим. «Я сюда больше не приеду, – хрипел киномеханик. – Выручка с гулькин нос, а я с выручки премию получаю!» – «Ты на меня не хрипи! – тоже кричал управляющий на киномеханика. – Молод на меня хрипеть. Тут тоже люди работают от зари до зари, хотят отдохнуть по-человечески, кино...» Антон как-то живо вспомнил этот скандал.

– А видео у нас в клубе осталось? – спросил он мать.

– Какое видео, – отвечала мать, всплеснув руками, – хлеба не везут! Да и кому тут смотреть-то? Такая яма: ни радио, ни телефона, мхом все обрастает. Бежать бы отсюда без оглядки, вся молодежь разбежалась. И невеста твоя, Любаша, укатила с родителями. Она, верно, писала тебе из Рязани?

– Писала, – ответил Антон. – ПТУ заканчивает...

– Да и нам пора уезжать. Я вот все отца понужаю, агитирую ехать. Он, сам знаешь, на подъем тяжелый, как камень.

Отец поднял голову, глянул на мать долгим косым взглядом. И бросая иголку на пол, откинул защитный сапог в сторону, проговорил:

– Опять двадцать пять! Ты глянь-ка на нее, глянь-ка, какая легкая, острая на язык! Языком молоть – не дрова колоть. Не шутка в деле. Все брось, а где же поднять? Опять же: тут скотина, птица, улы... Да и выгон хороший, такого и не было никогда. Собираемся же, думаем, чево еще?

– Чего нам собираться? – Нюра, расставив ноги, свесив не в меру худые и длинные руки, глядела на Серафима без злобы. – Нищему собраться – только подпоясаться. Прозвали тебя Нуждой – поделом...

– Да погоди-ка, погоди, – отмахнулся Серафим и кинулся к растворенному окну. – Чево? Чука, Нюра! Чево, Петя?

В палисаднике перед окнами стоял Петя Дрова-Нога, инвалид с детства. Когда-то, еще молодым парнем, Петя пас коров. Было раннее росистое утро. Он снял тесную обувку, гонялся за стадом босиком, наколол ногу. Помочился на кровавую рану в пятке, сразу не пошел к врачу, думал, что пройдет так. А когда вечером пригнал стадо – хватились запрягать лошадь и везти Петю. И было уже поздно, как говорили тогда, «антонов огонь накинута на ногу». Ногу отрезали до колена. Протезы тогда достать было трудно, он ходил на деревяшке. Прозвали его давным-давно Петей Дрова-Нога.

– На поскотину пора, – говорил Петя Серафиму. – Скотина изревелась...

– Ты зайди-ка, Петя, у меня сын демобилизовался, вернулся со службы.

– Потом, потом, некогда, – прогудел Петя и заковылял по палисаднику.

– Нюра, на работу зовут, собирайся, – крикнул Серафим из сенца.

– Иду, иду...

– Дела-делишки, – затворяя окно, сказал Серафим своей любимой поговоркой. – Весна подошла, радость кругом, светло. Так-то разобраться: что бы не жить в Ольховке? Если бы корма для скотины, хлеб, соль и прочее... Ан нет, все про все меняй, мясо, картошку, мед – все на хлеб, на муку. Только и отрады, что скоро пчелы загудят, зацветут вишни, яблони. Медок пойдет первый, самый что ни на есть целебный. А летом травы – не прокосишь. Косить разрешили, живности много у нас. Работай не ленись, прожить можно... Чего метаться-то? Чего там в городе, с неба манна? Как говорится, где вороне ни летать – все одно дерьмо клевать. Однако надо обуваться. С нами пойдешь, Антон?

– Пойдем, помогу вам, – Антон нашел резиновые сапоги, оделся, ждал отца, стоя у порога.

– У нас теперь бригадный подряд, а бригада – излом да вывих. Старики, старухи, да вот еще Петя этот, Шлеп-Нога. Бригада...

Отец с сыном оделись, вышли на крыльцо, ожидая хозяйку, Серафим рассказывал сыну:

– А тут вот какая оказия со мной приключилась... – Серафим закашлял от дыма сигареты. – Оказия, скажу тебе, сынка, по секрету, без передачи кому-либо.

В конце марта было дело. Иду я, знычит, из центральной усадьбы, в сельпе был. За спиной, в вещмешке – буханки хлеба, спички, соль, мыло – словом, всякая мелкота, нуждишка, одно слово, наша. Дорога была хорошая, к вечеру только крупной понесло. Сворачиваю с дороги к дому – глядь, костерок во дворе у Корякиных полыхает. Оне, сам знаешь, давно уехали, от дома и от подворья один прах остался, дотлевают; банешка догнивает, крыша тесовая провалилась, подворье и сад чапыжником, дуrolомом поросли... Что такое? Подхожу. Трое мужиков, в городское обуты-одеты. Незнамые-незнакомые. Разозлился, сдерживаю себя. Один из них, смурной, щуплый и глаза навывкате, вертит проволоку. А на проволоке-то – поросенок ли, барашек ли – не разберешь... «Здорово, мужики!» – говорю им. А они все враз: «Здоровей видали, отец!» Я вмиг смекнул. «Э-э, – думаю себе, – эти ребята – оторви да брось. И голову могут оттяпать, и того, на рукомойник...» А я в сельпе хлебнул немножко, на дорогу, на посошок, с дружками своими, с дедом Игнатом, он тут бывает иногда. Да ты слушай, слушай, Антон, что дальше-то будет. Шел я их шугануть, а тут – нет, думаю, тут защиты нету. Голого сокола и галки дерут. Спрашиваю: откуда и куда путь держите, молодцы? Тот, что вертел на костре мясо, нахально вылупил на меня глаза: «Где были, нас там нет. И не скоро там будет. А идем в Медведовку, Богу помолиться, бабушке поклониться...» И все мать-перемать. И матерщина-то какая-то нездешняя, говорить – язык отсохнет. Смеются, пальцы растопырили, греются. Я только и сказал им: «Вижу, мол, какие вы богомольцы, раз огонь-то

разводите во дворах, хоть и брошенных!» А широкомордый, с переломанным носом ко мне: «Ты, батя, не шуми. Мы люди деловые, на ноги скорые, на руки спорые. Погреемся, закусим – и айда, пошел. Тут вот шашлык готов, пора и закусить...» Самый старший из них, лет тридцати пяти, шикнул на своих, шагнул ко мне через костерок, взял за пельки и говорит на ухо: «Папаша, деньжонок подграбастать не хочешь?» Я и задумался: а кто же не хочет? Нуждишка, знамо дело... «А чего, – говорю, – надо-то?» – «Та-а, пустяки. Смердогону надо». – «А сколько?» – это я-то ему. А сам смекаю себе, голова бедовая. Голова работает, как трактор. – «Видишь, ребята устали, издалека едем. И дело-то за небольшим: соль-вода есть, можно пельмени стряпать. Ха-ха... Мол, мясо готово, а ни хлеба, ни соли, ни выпивки». И опять я задумался: по нынешним временам с самогоном шутики плохи – монополия. Обдерут как липку, а эти – выпьют и под суд подведут... Мордастый вытащил из порток пачку красненьких, шлепнул их об ладонь. «За каждую поллитровку по косо́й схватишь. Ну как?» Шутка ли? За пузырь вонючки – сотку! «Нет, думаю себе, такого случая упускать нельзя...»

– Мужики! – крикнула Нюра с подворья. – Готовы ай нет?

– Готовы, готовы, – тоже громко ответил Серафим. – Готовы, тебя ждем... Слушай, Антон, что дальше-то было. Смотри, никому ни гу-гу... Да, тут я прикинул, смекнул: дома у меня было, а сколько – вспомнить не мог. За четверть – шестьсот рубликов. Ни тебе ни горбатиться, ни навоз не убирай. «Сколько надо?» – спросил. А он: «Сколько принесешь?»

– «Две четверти, – говорю, – принесу, шесть литров». Они переглянулись, мол, не многовато ли... «Жаба, – говорит шуплый, – отдай за шесть, пусть тащит, с собой возьмем. Уйдет – из-под земли достанем». – «Ладно, отец, хлеба-солихвати». Я – ходу, домой и в подпол. Раскопал в картошке, достал гусыню, ну эту четверть старинную, хлеба буханку, сало тоже отрезал – словом, все сложил в торбочку и лечу обратно к костерку. А уж совсем темно стало. Гляжу, и костерок дотлеваает у них. «Тебя, батя, только за смертью посылать, – говорит молодой, пучеглазый. – Жаба, возьми-ка у него сидорок-то, выверни...» Жаба, как они его звали, схватил у меня торбочку, выставил четверть. Все трое разом засмеялись. Крокодил, так звали старшего, вытащил нож, надавил кнопку – лезвие выскочило. «Гужуйся с нами, отец, – сказал Крокодил. – С нами не пропадешь...» Я сел с ними на бревно, кумекаю: «Хорошо, что деньги дома оставил, мужики шалые, озорные, похоже, идут с отсидки».

...Антон и слушал, и ждал мать. Хозяйка кормила кур, свинью. Молодые поросята-молочники подняли визг. Яркое солнце грело, мокрая земля парила на припеках. Серафим рассказывал, а Антон не верил своим ушам. Такого раньше не было...

– Теперь слушай, Антон, слушай, что дальше-то будет, а то скоро мать придет, я ей не рассказываю про такие дела. Сел я с ними, сижу на бревнышке, прилачился бочком, как сирота. Язык у меня зачесался, тихонько спросил Жабу: «Ты чей?» А он глаза белые на меня выпучил, засипел, как ежик: «Старой транды казначей!» Тут и Крокодил встрял: «Будешь спрашивать – вопросительный знак

отрежем...» И порядки у них особые, не наши: цедят себе в граненый стакан из четверти, смеются и все по-блатному, с присвистом, по феням говорят: «ксивоту оторвал, лепень куплю, колеса» какие-то... Копченый, верткий такой, деловой, все заботится, мясо ломками, хлеб раскладывает на газету. Мясо молодое, запах вкусный да с лучком. Выжрали они по стакану, зажевывают. Тут на меня Коля Жаба сипит: «Ты чево сидишь, отец? Наливай и пей!» А я ему: «Чужое не пью». – «Э, батя, да ты, видать, нигде не бывал. Ну, ничего, побываешь. Кто не был, тот будет, а кто был – не забудет... Вали, пей» – это все Жаба так толковал. А Крокодил, не прожевав кусок мяса, налил еще полный и говорит: «Пей, отец, все наше – и тюрьма, и параша. Пей, крестьянин, мужик... мать-незамать, отца не трогать...» На тарабарском говорили долго, надоело слушать. Хотел идти, ждал, когда четверть опростают. Старинная четверть, ловко из нее самогон наливать: буль-буль, капельки не проливаешь...

Антон хохотал до слез. Вытирая слезы от смеха, расстегивая на телогрейке пуговицы, спросил:

– Сколько же у них осталось?

– Почти половина, литра полтора. Да и мясо мне понравилось, прямо вкуснятина такая. Ну, про мясо сейчас и толкую. Сунули они мне кусок, сижу, жую, мосольчики обсасываю. А они что-то все на меня поглядывают, по феням толкуют. Глядь, заторопились. Еще наливают на дорожку. А я выпимши-то выпимши, а кумекаю: схлестнулся... деньгам не рад будешь. Еще по стакану выжрут – башку отрежут и увезут. Черт с ней, думаю, с четвертью. «Пойду я», – говорю им. А уж и совсем

черно стало, костерок взметнулся, Копченый подсунил в огонек соломки. Да ты слушай, сынок, чево ты все смеешься-то, слушай, а то

*Голодный бич смелее волка,
А сытый бич смиренней овцы.
И не дождавшись в кадрах толку,
Голодный бич отдал концы...*

Встал с бревна, чую – тяжело. Крокодил надавил мне на плечо, осадил меня. «Жаба, – говорит, – плесни ему еще, не жалеи, хороший человек, хороший кре-

*Выйдешь за ворота,
Тряхнешь сединою,
И с презрением
Оглянешься на зону...*

Да уж, полюбовался я на этих молодцев-соколиков, врагу не пожелаю. Стал казнить себя втихаря за жадность. А жадность, она фрера губит. Да и не я виноват. Меня ведь Нуждой прозвали за что? Вечно чего-нибудь нету. «Ну, прощевай, Серафим благочинный, пропил тулуп овчинный...» – «Вы бы мне четверть-то вернули, посуда нужна». – «Перебьешься! Нам она нужней. Там осталось для сугреву. Дорога дальняя, а ночка черная, и одежонка на рыбьем меху... Как мясо? Вкусное?» – «Вкусное, давно свежинки не ел. Весной какой дурак баранчика режет?»... Копченый собирал остатки еды, кидал под старую яблоню, в бурьян, кости. «Тут по вашей глухомани, – засмеялся он, оскалился, – этой свежинки полным-полно. Пойдемка, я тебе покажу, шкуру заберешь, шапку сварганишь, отmezдришь, очистишь и сошьешь». Повел он меня за баню, показал на отрезанную голову клыкастую, собачью. Я так и обомлел. На голых сучьях висели сизые грязные кишки, на снегу – кровь. Меня затрясло, заколотило. И так чистило – кишки

осерчаю. Глядь, еще понемногу дернули, в четверти с литр осталось. Самый маленький и проворный запел себе под нос:

Хороший человек – редкость в наше время, угощай его. Может, еще зайдем, мир тесен...» И запел жалостливо, плакать мне тогда захотелось...

к горлу подступали. И жалко было – растил кобеля, холил, стадо беречь. Пока я рыгал, заедал снегом, бичи ушли. Да и чего бы я им сделал? Ох и жалел я тогда, да и теперь, что схлестнулся с ними. А кобеля жалко, хороший, смышленный был кобелек.

Мать загремела щеколдой, вышла на крыльцо. Антон сдерживал смех, хватал ладонью по губам.

– Пора, пора, мужики... Петя теперь уже там пластается, старухи навоз возят, а мы никак не собираемся. – Ты чево, Антон?.. И, взглянув на Серафима, заругалась:

– Вот как выпьет – дурак дураком...

– Мы не про тебя, – Серафим подтянул голенища высоких резиновых сапог. Это мы про свои дела толкуем, про собаку.

– Какую собаку?

– Да про кобеля, который запропастился.

Волчихины шли единственной ольховской улицей, справа и слева стояли высокие тополя. Еще осенью трактора вдрызг разбили дорогу. По улице – ни проехать, ни пройти. В глубоких колеях стояла

желтая вода, морщилась от ветра и блестела на солнце.

С ловкостью десантника Антон перепрыгивал колеи, мать и отец обходили лужи; шли тропинкой возле уцелевших частоколов, повалившихся плетней. Антон то и дело останавливался напротив пепелищ, спрашивал отца, отчего сгорели; а то минуту-другую стоял у палисадников с растасканным на дрова частоколом. Там и сям зияли дыры в железных крышах, косили сгнившими углами сараи, почти все стекла в брошенных домах были неровно выбиты, как будто в них стреляли из рогаток. У стариков и старух покосились и залегли серые ворота; Антону так и хотелось подойти и подпереть их плечом. Задичали вишни, сливы, яблони, почки уже лопнули, рождались ранние листья. И радостно, и грустно было Антону. Радовался он весеннему яркому солнцу, молодой новозеленой траве, уже кое-где плотно, опушкой, расстилавшейся на угорчиках; вспомнилось раннее детство, когда лазали на яблони, в кровь изодрав руки, на клочки изорвав рубахи... По улице с весны до осени ходили босиком, ноги кровоточили цыпками, а по вечерам мать отпаривала в тазу грязь с ног, смазывала вазелином эти самые струпья и цыпки. И было другое, грустное чувство, вызванное этими пепелищами: как Мамай прошел! Страшное запустение в огородах и садах, и эти дички, хотя и зацветут, толку от них мало, избьет их пустоцвет, зарастут сады муравой... Почерневшие прошлогодние раkitники, густая полынь да чернобыл, битые кирпичи, слетевшие с крыш, подступали к тропе, как знак неотвратимой беды.

– Когда же сгорели Осоедовы? – Антон принаравливал свои шаги к родительским.

– Прошлым летом, в августе, – ответил Серафим сыну. – Жарища была – страшное дело. Ветер дул сильный и сухой. Запыхал осоедовский дом – пламя перекинулось на Слюниных. Страсть была такая, думал, вся Ольховка сгорит дотла. За какие-то полчаса два дома – как корова языком слизала...

– А пожарники? У нас же в центральной усадьбе пожарная машина, – удивился Антон, шагая бок о бок между матерью и отцом.

– Чево там, – Серафим махнул руками, – чево там, пожарная. Набрали в колодце воду, стали лить – шланги худые, забили струйками. Туда-сюда, а уж и крыши сгорели. Да и дома-то пустые. Кинулись бабку твою отстаивать. Кое-как отстояли. Я сам на крыше стоял, водой из ведра поливал. Тополя возле окон помогли малость, искры не дали заронить, загородили. Да Осоедов-то сам спалил, – Серафим воровато оглянулся, почти шепотом продолжал: – Говорят, тыщ сорок страховки оторвал, а Слюнина Варя – побольше, у нее дом был новый. Страховали они обязательную и вольную. А Осоедов – в трех местах. Сараюшки, пристройки, то да се – получили и молчок. И что удивительно, ушлый народ пошел: горит, а всем и горя мало. Только бабка, мамка моя, чуть не померла от страха. Приезжал на пепелище Осоедов, и Слюнины были. Видно, что хапнули страховки много...

– Люди умеют, не зевают, из огня рвут... – неловко шмыгая сапогами не по ноге, ворчала Нюра. – Тут не одни Осоедовы и Слюнины нагрели руки на беде. У Осоедова и была-то гнилушка.

– Тише, тише, мать, – Серафим боязливо глядел на окна: не подслушивал ли кто их разговор. – Наше дело – сторона, больше пуда не молоть.

– И нам надо свою спалить. Мы тоже вольную застраховали, – злилась Нюра, где шагом, а временами стрюком догоняя своих мужиков. – Осточертела эта Ольховка – сил нет. Того и гляди зарежут или сожгут. И не увидит никто. Ни тебе телефона, ни радио, гиблое место. Года через три, от силы пять – вымрут тут все, останемся мы да Петя Дрова-Нога.

– Да что ты, мама, опомнись, – взяло Антона сердце на не в меру разгорячившуюся мать. – Я тут родился, вырос, жалко...

– Все мы тут родились, – разгоралась гневом Нюра. – А теперь вот жизнь устроили: бьют и плакать не велят. Да и что толку плакать, совсем рабами поделали. От работы, гляди-ка, по рукам какие шишки пошли. Не успела вырезать грыжу на животе – глядь, уже в паху растет. От зари до зари ломаешь, а хорошего ничего не видно. Все хуже и хуже. Без хлеба сидим, без денег. Комбикорм не добудешь, а и добудешь – не съешь...

– Молчи! Могила! – встрял в разговор Серафим, тоже стал злиться, хмуриться. – Да и в городе ломают. И в городе будем круглое катать, а плоское таскать. В конторе нас не посадят за бумажки, не учились, дураки дураками, а там, в городе-то, – господа...

Туманно-сизо темнел лес, солнце жарило. Отец говорил Антону:

– Насмешка теперь это слово – «господин». На то – город, там уже не насмешка, привычка. А и тут есть один господин: председатель!

Мать одета оборванкой, платок на лоб, поддерживала:

– Раньше было: и яички, и барашек. А хлеб-то какой был – живой! Разлوميшь – он дышит! – говорила она, словно обрывала

последнее, что связывало с сельской жизнью.

– Золотом осыпят там на все поколения, в городе-то. Вот вам и фермерство. Все, дошли.

– А что ж и не уехать, помирать здесь?

– И помирать не минуешь... Мать бросила ведро в сторону.

– Обидно! Вышло все-все терпение, сердце почернело, – в глазах глубокий ужас, отчаяние.

А казалось, совсем недавно ждали: раздадут крестьянам земли, помогут деньгами желающим трудиться «фермерам»...

Продавала мать слышанное:

– Все наше будет, думали. Из-за тринки травы дрались при Советах-то, из-за делянки в лесу. Думали, теперь не то будет, заживем. Дожили, слава в вышних, иди и бери. Только братья некому...

– А ты, мать, в город. На балкон розы нюхать?!

Солнце задушили тучи...

– Осоедов-то, что, грамотнее нас? Чево он закончил-то? А живет как фон-барон какой, на машине катается. В милицию потаскали-потаскали, а он: я не я и лошадь не моя... Хитер бобер, – сморкаясь в грязную тряпку, тараторила Нюра. – И Варьку таскали. Дом-то хороший, а в доме шаром покати, все пропили, одна кровать с клопами осталась, а опись, сама свидетель, десять тыщ с лишним написали. И этот бригадный подряд, что это за подряд – две старухи, мы да Петя Дрова-Нога. Бригада... А мы – ломай за них, да вот еще Антона приструним. Вон он весь подряд – излом да вывих.

– Здорово, бугор! – ловко тыкая в жидкую глину протезом, здоровался Петя; правая штанина задралась, и видно было голень в дупле протеза. – Здорово, Антон, –

протягивая широкую мозолистую руку, весело здоровался Петя. – Как служилось? Ну и навозу нонче, да жидкий, не поймешь, чем и убирать, хоть ведром черпай...

Молодняк уже гулял на воле. Нетели разбрелись по мокрому выгону, жидко поросшему мелким чахлым кустарником. Редкая молодая травка блестела на солнце, пробивалась среди прошлогодней осоки в низинах и метлики на буграх. Чистые лужи в провалах ослепительно блестели. Дальше за кустарником ярко-зеленым морем раскинулась озимая реденькая ржица, подступавшая к самым усадьбам, и, густо зеленея вдали, сливалась с горизонтом. Влево, между Ольховкой и выгоном, невспаханное поле чернело и парилось. Антон, хлопая кнутом, кидался за скотиной, поворачивая от озимых к выгону, с трудом удерживал натиск; нетели рвались неудержимо. На помощь приехал верхом без седла Серафим.

Кобыла, хоть и немолодая, но сытая и справная, галопом бежала по выгону.

– Без собаки плохо, – подъезжая к сыну, сказал Серафим. – Сволочи, бичи, сожрали такого кобеля. Хоть и молодой был, а умный.

– Да и ты кобелем-то закусывал, – шутил Антон. – А что, вкусный? Лучше, чем баранина?

– Если б не показали кобеля, сошло бы, – засмеялся Серафим, одерживая кобылу, семенившую под ним и прядящую ушами. – Я бы и не догадался. А им, видать, не впервой. Каких тут ухорезов только не увидишь. Еще похлеще шатаются тут, иконы промышляют. И на что они им, Антон? – спросил Серафим, поглаживая холку кобылы.

– Иконы-то? Да продают любителям. За марки и за доллары. Они знают, кому продать...

– И ты знаешь чево, какие попало не берут. Смотрют до-олго. А то повертят-повертят и назад отдадут: иди, иди, мол, чего ты, мы ведь тебя не бьем...

– Понимают, видать.

– Наша мать говорила же, что выменяла на две каталки колбасы. А она, такая икона, в городе и тыщи стоит. Я в них не смыслю. Иконы, оне иконы и есть. От Нюркиных стариков, покойников, осталось много икон, целый киот, и в чулане.

– Бать, а чего ты так уж бьешься из-за денег, прямо как рыба об лед?

– Эх, сынок... – осекся голос, встречный ветер мешал говорить. – Я же тебе писал, что задаток отдал, дом в районе облюбовали, Осоедов помог. Ругаемся мы на него так, за глаза, а он помог. И с хозяином договорился, и мне написал. Да за глаза-то и начальство корят.

– А сколько задаток?

– Двадцать две тыщи отвалил. Особняк не особняк, а дом ядреный, большой, кирпичный, стены хорошие. В надежные руки, отремонтировать старательно, крышу подлатать – сто лет стоять будет. Осоедов обещал сделать все как надо, он там на стройке бригадиром. Начальник не начальник, а шишка на ровном месте. Вот тебе и Осоедов.

– Что же он, дом-то, брошенный, что ли?

– Дом-то? Ну да, хозяин куда-то удрал, в Рязань ли, в Москву ли – не знаю. Да и этот-то трудов стоил договориться. Давали пятнадцать – ни в какую. Двадцать две задатку – и все тут!

– А сколько все про все?

– Двадцать семь с половиной...

– Тыщ? – удивился Антон.

– Ну не рублей же! Хот! Ты да-
ешь....

– Вот это цены! – воскликнул Антон, стреляя кнутом. – На легковушку хватило бы.

Серафим спрыгнул с кобылы, держась за поводок уздечки, размахивая правой рукой, рассказывал, как трудно было отыскать дом, что все теперь оборзели, все куда-то едут, непонятно, кто что ищет. В заброшенных деревнях, которые поближе к городу, пенсионеры за бесценнок покупают дома, «покормиться» выезжают на лето.

– А у нас не купят?

– А у нас не купят. Кто поедет в такую дыру? Бездорожье, ни проехать, ни пройти. Сам же видел. Ты-то как? Хочешь уехать в город на жительство?

Антон долго раздумывал. Жаль было покидать родной дом, с детства знакомые места, кустарники с ежевикой, подосиновиками. За лощиной – речка, где ловили плотву, выюнов, красноперок. Был и большой темный лес за речкой, там и белые грибы, и грузди, и густой малинник в оврагах... И как-то живо все это представилось Антону, так тосковал он по родным местам, а теперь обернулось совсем по-иному...

– Чево молчишь? – наступал Серафим. – Говори, бросать гнездо-то или погодить?

– Как хотите, – выдал Антон, принял у отца поводок и легко запрыгнул, навалился животом на кобылу и, закидывая правую ногу, сел верхом.

– Тут летом вольная волюшка! – Серафим окидывал взглядом мелколесье, низины и поля. Выпас будет хороший. Только разве

одними сенами прокормишь, с привеса платят. Заработок у нас с матерью – пять на круг. Дома – скотинешка, птица, свинья. Прошлый год поросят-молочников продали, корова с бычком, то да се. Ныне – не то, корма не укупишь, силов нет... А мать – та все в город рвется, трудно ей тут.

Пнув пятками кобылу, Антон, не дослушав отца, галопом поскакал выгоном, защелкал кнутом. Серафим грузно, как сытый гусак, покачиваясь с боку на бок, пошел следом за сыном. Выгон грелся опять проглянувшим ярким солнцем, легкий парок восходил над сочной травой. Обходя провалы с водой, Серафим ковылял к стаду. Антон вернул скотину и поехал к оврагу за выгоном. На дне оврага журчала вода. Склоны поросли тальником, ежевикой, густая прошлогодняя осока ржаво блестела, догнивала. Пахло перегнившими листьями и этой травой.

– Гоните, гоните! – заорала Нюра, замахала руками. – Давай, давай!

Серафим побежал трусцой к стаду. Антон тоже услышал, стал подъезжать, понужая лошадь, подъехал, и, сгрудив нетелей, погнали к коровнику. Бригада раскладывала сено по кормушкам – станкам, как тут говорили. Сена было немного, его жалели. Ворота были отворены настежь, в коровник сквозь окна сочился яркий свет.

– Фу, фу, упарился, – говорил Серафим. – Взмок... Фу...

Скотину накормили, напоили свежей колодезной водой. Бригада ушла обедать, а Волчихины все еще работали, подкладывали то сено, то обновляли воду в желобах. Антон работал за троих. На работу горячий, все бегом, все бегом...

– Отдохни, мама, – кричит Антон, проникая сквозь нетелей с навильником сена. – Отдохни, я один управлюсь.

Солнце уже пошло на убыль, склоняясь к дальнему большому лесу. Антон с матерью вышли из коровника, обирались, стряхивали с себя сенную труху. А Серафим все еще возился, сопел в пристройке для бригады. Там в углу плотники, работавшие дня три назад, раскидали по углам крупные половые гвозди. Серафим, трудно нагибаясь, собирал все: рабочие рукавицы, и гвозди, и шарниры, и петли, и скобы дверные...

– Ты там не помер? – закричала Нюра, знала, что собирает что-нибудь по двору. – Он с пустыми руками не ходит домой. Надо не надо – тащит, говорит, не надо будет – дома выброшу... – Эй, Серафим! – вновь закричала Нюра, заглядывая в даль коровника. И уже обращаясь к Антону, сказала:

– На ходу спит наш отец. Прямо на глазах поправляется. Спокойный, спать может сутками. Прямо на удивление горазд спать... И жаден до крайности.

– Иду, иду, – отозвался Серафим. – Смотри-ка, тут и саморезы, иду, чего орешь! Все спешешь, егозишь, а я вот несу тут кое-что. Ушла бригада-то? Фу, фу, ну и жара. Надо хоть телогрейку снять. Натек-ка вот гвоздочки да еще кое-что, рассуйте по карманам, чтоб никто не увидел. Не видят – не бредят...

– Господи, все подбирает, – сердито тряся платком, обивая сор, ругалась Нюра. – Так и знала, чего-нибудь добудет, ищет, все ему надо.

– Смолкни, – спокойно отвечал Серафим, – тебе ничего не надо, у тебя все есть. А у меня –

нет. За что ни хватись – нету. К кому побежишь, у кого спросишь? У Пети Дрова-Ноги? У матери вон, у Колдуньи-то, дверь с петель слетела, просила сменить.

Волчихины семейно шли к дому огородами. Было тепло, они снимали телогрейки и несли их под мышками. Грязь налипала на сапоги, всюду стояли лужи, оставшиеся от талых снегов и дождей, ливших неделю. Дома Нюра хлопотала в свинарнике, смотрела за поросятами-молочниками, месила руками в ведерном чугуне; Серафим задавал корма корове, Антон принес ей воду из колодца. Звездочка узнала его. Комолая, низкий лоб с белой отметиной, вроде звезды, влажные теплые ноздри. Равнодушно глядит выцветшими от бездонных далей глазами, бока ввалились, растянули крестом шкуру кости хребта и таза, ребра заострились, обозначились, и все же ведерное вымя раздуто, соски... Мать вытянет, нацедит к вечеру парного молока. Важно!.. Что-то словно изменилось и в людях, и в мире, и знает это она одна, своим спокойствием чувствует... Да разве ей объяснит хозяин, почему запустили ее, почему так часто ревет она теперь за пустыми воротами, а отец, тяжело покачиваясь, выходит доить ее вместо хозяйки, и тогда пахнет от него остро, бражно. А то и покормить забудут. И ходят теперь в Ольховке всего две коровы. И когда покончили с кормежкой домашней живности, сели обедать. Доедали остатки сухарей, вновь кисло запахших, едва их замочили. Затхлый запах сухарей прогнали только после обеда, растворив все окна настежь. Серафим, не раздеваясь, стянул нога об ногу сапоги, залег на лавку, голову положил на кованный сундук.

– И домов не осталось, сына. Дачки, дачки... – пьяно бормотал он, засыпая. – Пыль, грязь. Поганой метлой всю Ольховку. И деньги уже ничего не стоят. Скоро ото всего освободимся... – и захрапел на все носовые завертки.

– Она, – ворчала Нюра, прислушиваясь, – устроился. Через час-другой идти, а он спать выдумал. Прямо беда с ним, как поест – в сон шибает. Ты чего там лазаешь, Антон?

В сенцах, на полках в беспорядке валялись кассеты для магнитофона, книги по шоферскому делу, все было покрыто слоем пыли. Антон влажной тряпкой вытирал полки без закраек, складывал книги стопкой.

– Ты чево там, Антон? – вновь спросила мать.

– Порядок навожу, – ответил Антон. – Запустили вы тут все, книги пожелтели от влаги, испортились, а они мне пригодятся. Два года баранку не держал в руках, все позабыл.

И Антон уселся перед окном с книгами, читал, глядел на улицу в растворенное окно. Перед окнами стояли два высоких тополя с замшелыми комлями, в верхушках тополей работал ветер. Бледно-зеленые листочки сплошь покрыли ветки. Мать полезла по приступкам на печку.

– Что-й-то поясница заболела, прогреюсь, – лежа на печи, говорила мать. – Ляг и ты, Антоша, отдохни. Не шутка в деле, целиной шел по такой страсти.

– Нет, мама, я не устал, – Антон работал отверткой, налаживал магнитофон.

– Ну, тада это... Разбуди нас через часок, пойдем к нетелям, к вечеру выгоним, корму зададим, напоим.

– Ладно, ладно, разбужу, – Антон вышел в сад.

В саду кое-где стояли лужи, вылезла из сочной земли трава. Слоняясь по огороду, Антон зашел на двор, выгнал Звездочку на вольную волюшку. Корова прошла и стала. Понюхала крыльцо, шумно вздохнула, шевеля мокрыми ноздрями, потом вышла на выгон, попила чистой водицы из провала. Солнце уже низко стояло над лесом, за Ольховкой, островерхие ели причудливыми очертаниями синели вдаль. Травка на выгоне была еще так мала, что корове нечего было схватить. Звездочка – так звали корову за белую отметину на лбу наподобие звезды – женственно поднимая ноги, откидывая их на сторону, прибежала и заревела возле ворот. Антон отпер замшелые ворота со стороны огорода и пустил корову во двор. Одно воспоминание тянуло другое, как нить из клубка. Хорошо так посидеть, выкурить сигарету, глядя вдаль. Настроение благодушно после рюмки самогонки, мутной и сладкой – из не выстоявшей еще кипучей браги. Слипаются глаза, лениво брешет собака...

Ни добрых, ни злых людей – никого. Мать подошла в бесшумных калошах, высоких и мягких. Села рядом. Петя Дрова-Нога ходит, выламывает рамы, вышибает стекла, таскает кирпичи от дома Любаши.

Бело-мухортное грузное, барабаном, пузо Звездочки, от голода раздутое, на одной траве.

– Вот она, жизнь наша, – мать плакала с сомкнутыми веками.

Пугающие глаза.

– Ну и что теперь? Сухая камса на базаре в центральной, картошка да водка самодельная осетинская... Перестроились... в очередь от «товарищей» к «господам»...

Впереди туманность. Больно душе, и чудится: была гармония – теперь хаос звуков. Бессмысленный.

– Ай погулять выпускал? – спросила мать, вдевая руки в рукава телогрейки, накинутой на плечи, и входя на крыльцо широкого подворья, грязного и унавоженного.

– Выпускал, не хочет гулять, прибежала, – отвечал Антон, невесело улыбаясь.

– Я ей кормочку задам на вечер. Хорошая корова. Зимой двух телков принесла. Летом при хорошей траве литров тридцать дает, глянь, как исхудала. Иди-ка, буди отца, уберемся со скотиной да снова пойдем к нетелям. Там делов не переделаешь...

Серафим храпел на весь дом. Антон с трудом разбудил отца; он сел, очумело глядел на сына, тер кулаками запухшие глаза. Закурил и долго чадил вонючей сигаретой.

– Пошлите, пошлите, – звала Нюра мужиков. – Чево там расусоливать, пошлите... Делов пропасть, а они расселись на лавке...

В коровнике долго пластались всей бригадой.

– Если такое фермерство и дальше пойдет, всех накормим скоро. И Америку, и Европу.

В овраге воняло распущенным в полой воде навозом, валялись мокрые, полой водой смытые деревья, погнившие и уже взявшиеся зеленым мхом.

– Когда сюда селились, тут был один голый бугор да речка, – говорил отец, навалясь на вилы, передыхая. – А теперь опять как бы сначала начинаем. Да, сначала... Взяла досада: ни характера, ни уклада. Голод вводят, насильно вбивают. Голод, зависть и злость – вот итог и опыт всей нашей жизни. И матерей, и отцов.

– По телевизору, сама слыхала, говорили: в Иваново, под Москвой – голод. Комбикорм уже жрут. Замачивают в воде и жрут – нет работы!

Антон пас скотину верхом на лошади. Нетели не стояли на месте, все ходили выгоном, залезали в кусты, рвались к зеленым. Солнце уже закатывалось за дома, ветер стих, становилось ознобно, как это всегда бывает вечером ранней весной. Сумерки сгущались. Антону крикнули, чтобы загонял. И вновь чистили коровник, кормили, поили нетелей. Когда солнце закатилось, опустилось за лес, в коровнике стало совсем темно. Щелкая выключателем, Серафим ругался на электромонтера.

– Опять двадцать пять! – ворчал Серафим, как будто электромонтер был рядом. – Ну и монтер, пьянь самогонная. Опять где-ни-то замыкает. Да ай тут во тьме много наработаешь?

– Сами навадили, – оседая на протез, говорил Петя Дрова-Нога, – сами. Как придет монтер – выпивку, закусь на стол. А и делов-то – в пробке жучок поставить, а мы и рады... Теперь вот позови его, чтоб свет наладил, поди узнай, где он плутует... Может, в центральной, может, и дома торчит, поди достань его.

Когда говорили про электромонтера, промывали ему кости, не только в коровнике, а и на улице быстро темнело. Закат дотлевал, и грязная земля схватывалась от легкого морозца хрусткой корочкой. Вся бригада собралась возле ворот, думали-гадали, что делать без света.

– Надо фонари зажигать, – Нюра сжалась под телогрейкой. – Где фонари, Петя?

– А чего они, фонари? Ни керосина, ни фителей нету. Даве обсмотрел, никуда не годятся. Если б

знал, что свету не будет, наладил бы один, фитиль из двух сшил, керосину из дома бы принес...

Волчихин Серафим командовал бригадой уже лет пять. И все эти годы порядка не было. Все было раскидано, разбросано. Канистра из-под керосина валялась под грудой гниющего тряпья, фонари не проверялись с тех пор, как день стал больше ночи. Тут стали искать виновных, Серафим матерился на Петю, две старухи-пенсионерки – на бригадира: какой хозяин, такие и мы, по Сеньке и шапка... Совсем уж стала неразличима дорога в улице, а в коровнике – хоть глаз коли, чернота. Старухи-пенсионерки пошущукались и пошли себе в черноту ночи.

– Эй, барыни-сударыни! – рявкнул на них бригадир. – Вы это куда наладились, куда это навострились? А корму успели задать?

– Ширнули по навильнику, потрясли... – вразной ответили старухи и скрылись в ночи.

– Бригада! – со злобой плюнул Серафим. – Хвост морковкой – айда, пошел на печь. Головушка горькая, что теперь делать? Ну-ка давай посмотрим по кормушкам, проверим по яслям-решеткам.

Волчихин увалистой походкой пошел ощупью, стал чиркать спичку за спичкой, опасно держа в кулаке огарыши. За ним ходили Антон, Нюра и Петя с сеном на вилах. Кое-как раздали, а вода уже была разлита по корытам. Волчихин-бригадир ругался, собрал всех чертей.

– Ну, будет, будет, – не удержалась Нюра. – Раскипятился. Сам же виноват, смотреть надо, бригадир.

– А вы тут на какой... Может, я тут один работаю за деньги, а вы за вши? Петя, ты не мог тут посмотреть фонари?

Петя стучал протезом по полу, молчал как убитый. Убирая вилы в уголок, у выхода, закурил, заругался бабьим альтиком:

– На Петю не вали, я тут ни при чем. Ни дороги, ни телефона. Монтер сюда теперь придет только посуху, да и то когда сами отыщем. А может, он сам выключил на подстанции. Свету нету – Петя виноват!

– Ну вот тебе и все, – неизвестно кому говорил Серафим, – вот поговори с такими помощниками! Я не я и лошадь не моя! Ладно, пошли домой, работники. Антон, запирай ворота.

Ворота в две створки заскрипели на все голоса. Шли молча, натываясь во тьме на загорожи, оступаясь в колдобины с водой. Серафим споткнулся, завалился в луже. Поднимаясь на ноги, стяхивая с рук жидкую грязь, вспомнил город, как хорошо жить там: ни за скотиной не убирай, ни дрова готовить не надо – на всем готовом. В центральной усадьбе и то лучше. Сельпо есть, баня...

Нюра смеялась над ним, пользуясь случаем, укоряла:

– А я что тебе, дураку, говорю? Ты же не слушаешь, всего боишься. Родное гнездо ему жалко! «Сам строил, по бревнышку собирал, за мхом ездил... – Нюра нарочно пропела так жалостливо. – За мхом е-ездил...»

– Черт бы ее побрал, Ольховку, – злился Серафим. – Не-ет, хорош. До осени. И – Митькой звали. Соберусь. Нищему собраться – только подпоясаться, чтоб, значит, не поддувало. Вот просохнет – и к Осоедову подамся, спрошу, сколько за ремонт возьмет.

Дома наладили висячую лампу-семилинейку, в сенцах зажгли огарок стеариновой свечи. В

неверном сумеречном полусвете Нюра работала ухватами, доставала остатки мяса. Щи прокисли, она с отвращением вылила их из чугуна в ведро и вынесла свинье. Серафим с Антоном помыли руки, уселись за столом. Ни мясо, ни картошка с салом в горло не шли без хлеба. Нюра бегала то в хлев, то гремела ухватами.

– Серафим, да ай у тебя совети вовсе нету?!

– Чево-чево?!

– Помогать надо! – бросив в угол сковородник, закричала Нюра. – Сбегай к свинье, поросят глянь, «чево-чево»...

Антон было сдернулся с места, отец осадил его: «Сиди, сиди, я сам сбегаю, гляну, постелю соломки в хлеву». И с этими словами вышел с фонарем в руках. Антон завел хромоногий будильник и включил приемник, но слушать не стал. Что-то там хрипело, щелкало, и мелодия обгоняла мелодию. Олховка стояла в низине, сигналы как бы обходили ее. Он вспомнил, как смотрел до армии телевизор, то и дело налаживая его, но и он теперь едва показывал, не помогала даже высокая антенна, поставленная около дома на длинном шесте, похожая на громоотвод. Отец и мать ссорились, все ходили то в доме, то во дворе, наконец-то угомонились. Антон разулся, разделся и улегся спать во второй связи, в приделке, как говорил отец – «в притыке». Воняло керосином, было черно, как в пропасти. И в этой шелковистой темноте Антону не спалось, хоть и намотал ноги за день, саднили ступни; как цветные кинокадры, мелькали, вспоминались друзья-десантники, помощник командира по воспитательной части – шепелявый весельчак, офицеры-командиры. Потом ни с того

ни с сего виделись в ночи скотный двор, каурая кобыла, рассыпавшаяся по выгону стадо, ссора отца. Где-то далеко, верно, у Пети забрехала собака, и все смолкло, наступила гнетущая тишина.

Антон проснулся раньше всех. Открыв глаза, он не мог сообразить сразу, где он, почему не слышно казармы, команд, а оглядевшись, выпростал руки из-под попонки и все лежал с открытыми глазами. Стекла окон алели, было свежо в пристройке, и не хотелось вставать. Алый полусвет лежал на полу, обоях; фотографии лоснились, блестели светом рождающегося дня. Антон любил эти утренние зори, когда все еще спят, а земля просыпается, и свежий ветер льет с прохладой запаха родной земли. Запоют петухи, загремят где-то близко ведром о сруб колодца; молодые петухи хрипло заголосят, а старые – громко, с хлопанием крыльев перекроют их, и вот уже день родился, а с ним и земные заботы, радости и огорчения, смех и ссоры – все, чем так наполнена жизнь от рождения до смерти.

Вспомнил солдат и главную тему после демобилизации – угрозу расформирования десантного полка. Подумал: что теперь, как там? Все побежали на физзарядку? Кто-нибудь уже заскочил украдкой в кочегарку и жадно курит, заряжается дымом; кто-нибудь уже схватил «рябчик», а то и два наряда вне очереди... Живо представились ребята своего отделения, почти все высокие, стройные, на подбор «гренадеры», и такие незабываемые. Их лица, жесты, шутки прочно впечатались в память, как говорят – «до гробовой доски»... После физзарядки, как полагается, умывание, с озорством, с уборкой казармы, построение на завтрак.

Антону и верилось, и не верилось, что вот он дома. Но теперь, вот сейчас, через какие-то, быть может, полчаса начнется, катавасия, надоевшая за прошлый день, – и вновь схватка родителей: ехать или не ехать им осенью в город, – отец нерешительный, трусливый, мать вся высохшая, позеленевшая от забот, от скотины, от этих вечных размолвок. Разговоры о каком-то доме, о деньгах, о хлебе не сходили с языка. Воздух утренний пьет грудь, даль за окном еще сиза от тумана. И не верится, что где-то Москва, Красная площадь, где угрожают сжечь себя на безденежье, взрывают машины у Спасских ворот от безысходности и унижения, где огни прожекторов бьют в собор Василия Блаженного – и тут же у собора собирают подмошки, где подпрыгивают, беснуясь, рокмены, все гремит в огнях. А когда выставляют в оцепление, видно, как вальяжно вылезают из импортных лимузинов трудяги-политики. И как далеко теперь это. А здесь – дремучие чащи, дремучий народ, залило все полкой водой, земля гуляет, жрать нечего, и старухи таскают в сетках хлеб из центральной по очереди, а с электрички – не слезть... И эти сны в армии о родине, нездешние... Тихие голубые звезды дрожат... Партия власти, голод... А тогда, из армии казалось: помочиться у кривого кола, у оградки – вот оно и счастье.

Синим огнем полыхает чаша неба, сердце бьется как флажок – пей небо глазами. Мать за окном складывает руки на груди... Мать. Глаза блестят, довольна. Здесь, вон за теми кустами, ловили пескарей и плотву рубахой. Слышно: куры долбят по пустой мятой алюминиевой чашке. Мягко хлопает дверь, обитая полотном плащ-палатки.

Живы мы, мои родные, с добрым утром!

Антон Волчихин служил хорошо, посылали в сержантскую школу, а перед демобилизацией предлагали остаться на сверхсрочную по контракту, тут же, в десантном полку. Антон не остался. Не мог он забыть своей деревни, этих болотистых мест, выгона, речки, соскучился по родителям. А теперь лежал в теплой постели, мысленно пробегал пустую деревню, прикидывал, что, может быть, напрасно не остался в полку, который казался теперь родным. За какие-то два года Ольховка точно вымерла, уехала невеста, да и семье придется, верно, уехать, раз уж и задаток отдан, дело за деньгами.

Мысли путались, никак не удавалось сообразить, как же дальше жить. Добраться до совхозного начальства, спросить, есть ли свободное место шофером? А дальше? На работу дорогами не пройти, надо ждать, когда продует эти самые пути-дороги и можно будет с грехом пополам добираться до конторы...

В полку как-то было все понятно, ясно, как в солнечный день. Знал, что будет делать через час, через два. Дисциплина, занятия, уставы, работа или наряд – все неволя, но хоть понятная. А тут – вот и дом, и свобода, а неизвестность кажется хуже неволи. Родители, вечно недовольные, по-крестьянски злые. Лучшего они и не ждали: «Опять реформы – дело привычное». Опять решили сделать русских крестьян счастливыми. А кто – опять тайна. И опять для этого надо начинать непременно с голода, с разрухи, с мерзости запустения, с разрухи – «до основанья, а затем...»

С этими тяжелыми думами Антон встал с постели, присел на

коврике перед диваном раз десять, в упоре лежа отжался на кулаках, надел штаны и вышел во двор помочиться. Как только он отворил сенные двери, пахнуло навозом, по двору к уборной в тапочках не добраться. Он, как в детстве, помочился с крыльца. Куры с кудахтаньем слетали с насеста, по двору полетел пух, как снег. Двор был так загажен и запущен, что Антон с отвращением отвернулся, старался не дышать. Тесовые крыши местами осели, поросли зеленым, плотным, как фланель, мхом. Надо было латать и крыши, и подшивать толем амбар, и наводить порядок во дворе, раскидывать навоз, уже начавший гореть с белизной и парком поутру, – разбрасывать по огороду, а что думал отец, непонятно было Антону. Он вернулся в дом, мать спросила, зевая:

– Чево не спишь? Спи, рано еще тебе. А мне пора доить корову, печь топить. Хоть бы хлеб привезли нонче, не знаю, как и кормить вас.

Шлепая тапочками, Антон ушел в пристройку, разулся, лег, заснуть уже не мог. В кухне возилась перед печью мать, сгребала гусиным крылом с шестка золу и угли. Антон смотрел на мать из пристройки, и сердце сжималось жалостливо: худенькая, маленькая, шустрая, больная грыжами, а быть может, и печенью – не так же просто желта она лицом, сухо-костлява, и злится, злобится на отца, ругает свою «жисть». «Не жисть, а жестянка», – запальчиво бросала она как вызов отцу, так и не выбравшемуся, не вытащившему ее из нищеты, как он ни бился.

– Не спишь, сынок? – спросила она из кухни.

– Нет, не сплю. Привык вставать рано...

– А слышал, деньги скоро ничего не будут стоить? Правда? Ни у кого толку не добьешься, не люди ходят, а чучела человечьи...

Ушла мягкость и уютность, родственность, паутинка добрых морщин у глаз матери:

– Кладбище вон! Лучше теперь им там, чем нам здесь. Сказано в Писании: придут времена, живые будут завидовать мертвым. Купить гроб теперь – не осилишь. Старухи наши болтают, впрокат будут скоро выдавать гробы-то, как раньше велосипеды давали, по паспорту. Донесли человека – и выбросили в могилку...

Живут же, в самом деле, словно трубу Гавриила ждут, с черепами, с копытами предстанут мертвые, на ногах... Вот и дома пустые: кто уехал, кто умер, их нет, а жизнь их действует как бы и без них, двигается – кирпичи перенесены в другой фундамент, чашки, ложки разворованы и кормят другие рты. Где же он, деревенский люд, на этом или на том свете? И кто на каком свете теперь – живые и мертвые?

Мать жалеет, мать есть мать:

– Ну лежи пока, отдыхай... Распогодилось маненько?

– Ага, небо чистое, ветер...

– Теперь бы гостей собрать, всех ольховских, покормить. Да главное, хлеба нету. Как назло, за день до тебя черняшку доели, а и был-то завалыш. Нехорошо так-то, без гостей: не нами обычай заведен, пускай не нами и закончится. Да и радость какая!

Антон засмеялся, с напуском на брюки надел рубаху военную, убрал с дивана постель и, закуривая, сказал матери:

– Мама, я мигом слетаю в село, мне семь верст – не крюк.

– Ты же ноги смозолил, не дойдешь. Может, к обеду подвезут,

караулить будем. Ты в окно поглядывай, мне скажешь...

Через какой-нибудь час притащилась бабка Груня Колдунья. Пришла она тихо, села почему-то не на табуретку, а на нижнюю приступку печи, молча склонилась, навалившись на батожок; по-сиротски смиренно глядела на храпящего сына. Глаза ее слезились, валенки с калошами были в глине. Антон поздоровался с бабкой, вспомнил, что купил и ей, и матери одинаковые цветастые шали, сплошь усыпанные яркими крупными цветами.

– Чево пришла-то? – с неудовольствием спросила Нюра свекровку. – Чево тебе не спится? Скотину не убирать, корму не задавать, лежи себе и спи, как барыня азеская...

– Я, считай, вовсе не сплю, – не обижаясь, ответила бабка. – Я к внуку пришла, скучилась... Все одна и одна, молчком живу, аки жаба какая или мышь... – говорила бабка глухим голосом, бубнила, все вытирала сочившиеся слезы. – Голодная-то долго не належишь, жрать хотца.

– Мамка, да ай у тебя есть нечего? – выглянув из-под цветастой занавески, проговорил Серафим. – У тебя и сало есть, и картохи я тебе накопал полон подпол. Чего ты все поешь? Чего ноешь-то?!

– Мне бы хлебца хоть краюшку, какую-нито, – глухо бубнила бабка, тупо уставившись в пол. – А я думала, ты, сынок, спишь. Ай проснулся?

– Поспишь тут с вами. Ни свет ни заря – кондобят, буровят, как перемы вас берут: хлеба, чай, подавай... Как обжоры какие-нибудь, жратво одно на уме. Где я тебе краюху-то возьму? У нас и сухари кончились.

– Не шуми, не надо, – обиделась бабка. – Я тебя как родного выходила, воза два за тобой вынесла. Только спать больно горазд. Аппетитный больно на сон. Сколько помню тебя, все какой-то сонной, увалистый был, тяжелый на подъем. Все навроде про чево-то думал.

– Вали, вали, бубни, – надевая штаны, сопя и крепко утягивая живот, басом твердил Серафим. – Ни свет ни заря прикатила, спать не дает.

– А я не к вам, я к внуку, – отсекла бабка, тыкая клюкой в грязный утоптаный пол. – К вам я давно не хожу, грызетесь, аки собаки лютые. Все мало вам денег... А я вон пенсию полгода не получала... Триста сорок пять целковых, а не жалуясь, – никого не слушая, твердила Колдунья. – Могу вам дать. И пшеница, и жамок, и крендель есть.

– Кренделя у ней есть, – в тон матери отшучивался Серафим. – Кренделя-то и у нас есть. С них, с этих кренделей-то, ноги таскать не будешь... И, затянув ремень крепко-накрепко, застегивая рубашку, Серафим с предельной лаской, вкрадчивым голосом сказал Нюре:

– Нюрах, налей-ка стопарь, чтой-то муторно...

– Сичас! – выкрикнула Нюра, высунув голову из кухни, не выпуская из рук ухвата. – Вон чево захотел! Харю не успел ополоснуть, а уж стопарь ему подай. Я те вот счас ухватом по неумытому рылу, я те...

– Дура-баба, ей-богу... – засмеялся сипло, как змей, Серафим. – Ну чево вот с ней поделаешь? Сын приехал, радость невозможная, а ей сто грамм плеснуть жалко... Мы с Антоном по стопарику...

– Счас! Сичас!

Антон искал ключ от чемоданчика-дипломата, наткнулся на старые пожелтевшие газеты столетней давности, новых теперь не было. Пробежал глазами, прочитал: «краеугольный камень», а рядом казенное «негативно», «позитивно», «в свете решений», силясь представить себе этот краеугольный камень... Удивляло другое, фразы были украдены компросветом из Евангелия. «Во главе угла» – атеистами из Нового Завета... С раздражением бросил газету, нашел ключ на подоконнике и открыл чемодан. Вытаскивая одну за другой две цветастые шали для бабки и матери, а для отца – последнего размера тельняшку, засмеялся, слушая разговор бабки с отцом. Ни бабка, ни отец ничуть, ни на йоту не изменились, стали еще хуже, подурнели за два года, – отметил он с жалостью. Говорили они бестолково, ядовито стояли на своем. Отец уселся на сундук так тяжело и грузно, казалось – навек. Бабка смиренно подобрала юбки, отставила ногу в серо-пегом чулке. Серо-зеленые волосы, как прелая пенька, свисали сосульками на плечи; телогрейка лоснилась, как будто Колдунья лет десять проработала трактористкой, не снимая ее. Между тем Антон еще до службы видел полный сундук «добра» у бабки – допотопные поневы из рядна, зипуны, кошмы, новые кофты и юбки, пальто, исподние рубахи...

– Болею, – повторяла бабка сыну голосом ровным, бесстрастным, – болею и болею... Тебе-то что, наисся и спи, ты и младенцем-то даже не кричал, я думала – мертвый. Корова тебя нашла. Рыжуха. Уж ревела она, матушка, ревела... А по лицу у тебя муравьи, муравьи. Кочка муравьиная рядом стояла. Я тебя на руки взяла, а ты враз заснул.

– Это что же за болезнь такая? – Серафим закинул левую ногу за колено правой. – Что за болезнь?

– А ляд ее знает, трясучка какая-то... Руки-ноги трясутся, как овечий хвост, ноги подсекаются, голову к земле гнетет...

– «Гнетет», да тебе за восемьдесят только в прошлом году перевалило, а уж «гнетет». С похмелу, что ли?

– Дурень, – вспыхнула бабка, срываясь на резкий тон. Она с неудовольствием глядела на Серафима. – Ты же знаешь, в рот не беру ни самогон, ни очищенную водку. Это ты жором ее жрешь, клянчишь стопари. Антоша, внучек, глянь-ка в окно, хлеб не везут?

– Не везут, бабуся. На-ка вот тебе подарок, – и тут Антон, стараясь примирить всех, вынес две шали и тельняшку отцу. – Не ругайтесь.

Из кухни вышла Нюра, всплеснула руками. И вытирая о передник руки, подошла к свекровке, жадно глядела на шаль с яркими, по кулаку, розами по синему полю.

Колдунья кинула клюку, широко расставив валенки в калошах, вдруг затрясла шалью, радостно вскрикивая: «Внучек, родимый! Не забыл свою бабку Колдунью. Это я тебя наколдовала такого, голубчика... Ну, обрадовал бабку...»

– Эх, старая, а все туда же, – Нюра, подмигивая на свекровку, накинула шаль на плечи, вертелась перед зеркалом в горнице. Серафим натягивал тельняшку, выставив не в меру распушенный живот, как говаривал он – «мамон», крикнул:

– А сама-то – молодуха?

– Так я же к платью прикидываю, а не к телогрейке... А что же ты вчера-то не показал? – спросила мать Антона.

– А я забыл, маманя, вы тут все спорили да ссорились, а у меня из головы вылетело. А ныне утром увидел бабку и вспомнил.

– Ну, угодил... Уж так угодил бабке своей, – радовалась Колдунья, тоже пробираясь в горницу к зеркалу.

– Валенки-то сними, коврики загадишь, – остановила Нюра свекровку. – Господи, как дите малое радуется. Старуха, старуха, а туда же, форсить. Ты глянь-ка, глянь-ка, – поталкивая Антона локтем, твердила Нюра. – Из ума выживает...

Между тем бабка, не слушая, что говорили, скинула нога об ногу валенки у порога, нахраписто прошла в горницу к зеркалу. Лицо ее преобразилось, движения помолодели; она нашла гребенку, ловко зачесалась на прямой пробор, подбоченилась перед зеркалом.

– Уйди-ка, я на себя гляну, – говорила бабка невестке. – Уйди-ка, все зеркало заняла...

Солдат смеялся над бабкой, казалось, что дома посветлело, замолодило родителей, ожила радость. Старухе словно впрыснули молодую кровь, с такою страстью и радостью смотрела она на себя в зеркало.

В доме было жарко от печи, солнце уже поднялось, свет входил в окна широко, ярко и тепло. Густо запахло жареным луком, свинина скворчала в печи. И вновь думы о хлебе охватили Нюру: надо было кормить мужиков, свекровку тоже не угостить – нехорошо, да и бригада вот-вот нагрянет, могут и свою какую-нибудь выпивку принести. А что же можно съесть без хлеба? Хлеб насущный и в молитвах поминается, и Нюра нет-нет да и заглядывала в окна: нет, фургона хлебного не было видно...

– Ба-абы, хлеба! Налетай, подешевело! – раздавался за окнами знакомый голос.

Все кинулись к окну. Среди дороги, возле желтой лужи под вековым тополем, стояла соловая лошадь, запряженная в дроги, опустив хвост и не шевелясь, как приклеенная. В передке дрог, свесив ноги, сидел Игнат, по прозвищу Колышник, по-местному – матерщинник, совхозный пенсионер. Матерился он скверно, изощренно, как будто не знал замены простым словам. И как только он увидел вышедшую из палисадника бабку Груню, бывшую свою ухажерку, радостно заорал: «Эй, красотка ненаглядная, иди-ка я тебя обниму и поцелую, мать-перемать-то!» – «Сиди, смутитель, сиди! – тоже резко и без злобы ответила бабка. – Сиди, я за сумкой сбегая!»

В середине дрог деловито и величественно стоял ларь с облупившейся зеленой краской, крепко-накрепко схваченный цепями; дверца – под амбарным замком. Весь ларь закидан глиной от колес. Игнат Колышник неловко, с натугой, слез с дрог, долго разминал ноги, вытащил из кармана порток ключ и отпер ларь. Там, внутри ларя, в верхнем отделении, на лотках-палках с закрайками – почти с оказией, а в нижнем – хлеб, пряники, сушки, сухари горчичные к первомайскому празднику.

– Серафим! – заорала Нюра так, как будто ее собирались зарезать. – Серафим! – Он что-то искал под кроватью. – Беги-ка, беги за хлебом!..

Нюра кинулась в сенцы, за холщовым мешком, встрясла из него пыль и крошки, отдала Серафиму. Трудно поднимаясь с четверенек, не обращая внимания на окрик, Серафим ленивым

движением прикуривал, думал о своем. Нюра исподлобья смотрела на мужа, наполняясь злобой: все эти движения рук, олимпийское спокойствие всегда раздражали ее, запухшие глаза и вся осанка выводили из себя.

– Беги, ведь хлеб разберут, нам не останется! – вновь заорала она голосом пронзительным, как сверло. – Беги скорее, больше бери!

Волчихин не торопясь надел куртку, фуражку, сунул под мышку мешок, сложенный вчетверо, и пошел вразвалку к дрогам. Не разбирая луж, в резиновых несокрушимых сапогах, подошел к хлебовозу; они оба – рыбаки-браконьеры, их штрафовали за сети, оба злые курильщики и выпить не дураки.

– Здорово, дядя! – обрадовался встрече Серафим, на ходу осаживая косившую оглоблю, поправляя чресседельник. – Здорово, дядя!

– Доброго здоровья, добро-го здоровья, – тоже радостно вытягивая руку, не выпуская изо рта трубку, здоровался Колышник. – Ну, брат, и поправился ты, раздобыл. Как слон. Ай жрешь много? Ай все спишь и спишь? Ну, рассказывай, как жисть молодецкая, – и, сипя трубкой, в которой тлел табак, пускал сизый дым, в упор глядя на Серафима, закадычного дружка. – Говори, чево советь-то?

– А, жисть-то? – тоже шутил, преображаясь, стряхивая с себя сонную одурь, Серафим. – Жисть как у арбуза.

– Как это: как у арбуза? – щерясь, вынимая изо рта вишневую трубку, спросил Игнат.

– А так: живот растет, а корень сохнет... Сам-то как?

Растрясая в передке дрог сено, уложив шапку для денег, Игнат молча глядел минуту-другую на

Серафима, надсадно кашляя и утирая указательным пальцем слезы, отвечал:

– Я-то? Да как, хорошо живу: на печи греюсь, полотенцем бреюсь, с бабкой своей лаюсь, с малолетства маюсь...

И посыпались шутки-прибаутки. Игнат смеялся, то и дело трогал лысую, как колено, голову, радовался Серафиму: «Ну Серафим, ну Нужда! А и язык у тебя, язва. Бритва, не язык». И не договорив, бросая косые взгляды по сторонам, спросил, наклоняясь к уху Серафима: «Рыбки-то не отстегнул за-ради праздничка?»

– Ну, какое там «рыбки». У рыбки глаза прытки. Рыбка в воде гуляет, ходит по дну – хрен поймешь хоть одну. Без хлеба, без света сидим, как в войну. Ты же видишь – не пройти к речке. Вот распогодится – приду, жди. Шахи приготовь, чтоб...

– Да шахи готовы, тебя жду. Дело за тобой, понял? А у меня живо, понял? Ну, бери, набирай хлеба, а то не скоро приеду.

Серафим отсчитал деньги, кинул в шапку Игната и стал набирать хлеб, сушки, конфеты. Накладывал полный мешок, завязал тряпкой и положил на дроги.

– К праздничку-то надо бы хапнуть, – нахватавшись за последние два-три года, усвоив тон проходимцев и бичей, басом говорил Серафим. – Сын пришел со службы, гостей надо собирать, а у меня и хлеба нету.

– Ну-у? А что ж ты, такой-сякой, не сказал сразу? Эт-то, брат, серьезное дело. С тебя причитається, ужель не принес?

– Да принес, принес, давеча под кровать спрятал, а ноне ищу, а Нюраха не отходит, как прилипла к печи-то. На-ка вот, держи...

Воровски оглядываясь, Серафим сунул в карман Игната четвертинку, осмотрелся. К дрогам тащилась бабка Тырина, чуть дальше – Петя Дрова-Нога и старухи с сумками-самосвалами.

– Болею, ой болею... – жаловался Игнат-хлебовоз, заходя за ларь, отмыкая гнилыми зубами капроновую пробку. И вылив в горло четвертинку, вынул из ларя буханку хлеба, отломил и стал зажевывать. – Ноне еле-еле разломался, – рассказывал Игнат, жуя хлеб. – А разломался, глядь, Марья Ивановна идет. Съезди, гырьть, Христа ради, свежи хлеб в Ольховку, люди без хлеба сидят, дилехтор ругается: нельзя, чтоб без хлеба... Думал-думал... Не миновать, что и ехать. Ой, погоди, Серафимушка, на-ка вот тебе письмо, чуть не забыл от радости, на-ка.

Серафим взглянул на письмо, со злобой сунул в карман. Подошла бабка Тырина, Петя и старухи. Все кидали в шапку деньги, брали сдачу, набивали в мешки и сумки хлеб – хлебовоз деньги не считал, не было случая обмана или обсчета. Да и некогда было Игнату считать. Он закусывал хлебом и стоял возле дрог веселый, довольный и все шутил то с бабкой, то с Петей: старух звал красотками, Петю – красавцем.

Солнце уже довольно высоко стояло над Ольховкой, хорошо просыхало поле, черного крепя пашня с лоскутами-прозеленью озимых за деревней, улица и дорога, ведущие к большаку, – тоже парились.

– Бери, Петруха, больше, бери, благочинный, бери, голуба душа... Ха-ха... В воскресенье не приеду: захвораю...

В шапку Игната кидали заса-

ленные, мятые десятки, звонкие пятерки, рубли, мелочь... Говорили о погоде, как и когда будут сажать свою и совхозную картошку; Игнат сказал, что по угорам нынешний год опять пробуют сеять овес. Не расходились долго, спрашивали хлебовоза о новостях в центральной усадьбе, наказывали, чтобы Игнат передал: «Скажи там управляющему, что сена кончатся», или: «Скажи там, чтобы монтера прислали, без света сидим...», или резче и смелее: «Отматери там сельповскую Марью, чтоб сельдочки прислала в долг, под пенсию. Посолониться. Когда отматеришь, она лучше смущается...»

– Ладно, ладно... Ладно, скажу, – отвечал Игнат, сгребая из-под морды лошади остатки сена. – Ладно, поругаю... Да ладно, отmaterю...

Заперев ларь на замок, Игнат затянул супонь чресседельника, понукая лошадь, потащился в обратный путь.

– С богом, дядя! – крикнул вслед Игнату Серафим. Почему-то называл он его дядей, хотя и не был ему родней.

Колеса дрог по ступицу утопали в колеях, наворачивая и разбрызгивая жидкую грязь. Лошадь с трудом тащила дроги.

– Эй, милая! – гаркнул Игнат, выезжая из Ольховки.

Оставив позади деревню, Игнат все шел рядом с дрогами, выбирая, где легче проехать. И когда дорога пошла в горку, посуху, запел вольную, тутошнюю, которую часто пели на свадьбах песню, и песня эта старинная легко зазвучала в просторе полей:

*Мчатся кони, в снегу утопая,
Вспоминая минувшие дни,
Ждет голубка меня дорогая.
Ой, быстрее вы, кони мои!*

А потом уже веселее, развязнее и совсем страшно:

*Чтобы жизнь ее сделать как в сказке,
Темной ночью в банк я залез,
Набрал денег в мешок под завязку
И с деньгами я тут же исчез...*

Ехал Игнат медленно, голос его доносился долго. Поля окрест Ольховки парили, солнце грело. Висела белая помятая луна днем на синем небе. Просыхали лужи, серели полевые дали на высохших местах, а взгорья уже зеленели, поросли травой, и больно было глазам ото всего: от голубого неба, от света.

Серафим, как только услышал песню «дяди», поставил мешок с хлебом на скамеечку возле палисадника и долго слушал, ворча под нос себе: «Ну дядя, ну старый хрыч...»

– Ты чево стоишь-то? – высунувшись из окна, ругалась Нюра. – Ты глянь-ка, его ждут с хлебом, а он – вон он! Заснул, что ли? Антон, возьми-ка у него хлеб, его только за смертью посылать...

– Иду, иду, не ори, – голосом ровным и спокойным говорил тихо Серафим, взвалив на спину мешок с буханками хлеба, сушками, пряниками, – их тут называли жамками, потому что, когда их ели, звук был такой: жам-жам, вкусные. – Иду! Чего ты там торопишься...

Кольхаясь на грузных ногах, Серафим принес хлеб, свалил мешок в кухне, сразу уселся на сундук, вынул из порток письмо и стал читать. Мелькнула между строк крупная цифра. И сердце Серафима Нужды чаще заколотилось, кровь кинулась в лицо, в пот бросило: «Ну, так оно и есть, хозяин просит остальные деньги, как договорились». И сразу задумался Серафим, сидел как окостенелый: где взять столько денег? Занять? Но под что? И у кого занять? Он

вновь и вновь пробежал глазами по корявым строчкам, так оно и есть, так оно и есть, так оно и есть... Двадцать семь тыщ... Все, что сколотил он за свою жизнь, – мало, надо залезть в долги. Мелькнула мысль, что, если даже продать всю скотину, последние штаны, половины этой суммы не набрать. Да и какой дурак продает скотину весной, исхудалую, за бесценок?

Спрятав письмо в карман, Серафим выждал момент, когда Нюра уйдет к свинье в хлев, мельком взглянул в горницу. Там, в горнице, за столом сидел Антон.

Нюра где руками, а где зубами развязала-таки мешок, вытащила буханки, выложила крендели, пряники и, выбирая буханки с отвалившейся коркой и трещинами, стала крошить хлеб в ведро, вывалила из щербатого чугуничка вареную картошку в мундире, замесила все, тыкая кулаками в месиво.

Серафим, щупая письмо в кармане, все ждал, когда уйдет Нюра, подошел крадучись к застекленной двери горницы, мельком взглянул.

– Антон, поди-ка дровец в сараюшке накопи, матери помоги... Ступай, ступай...

Как только Антон вышел, крепко стукнул домовитой дверью, Серафим кинулся в сенцы и, закинув крючок в петлю, заперся. Озираясь на окно, отомкнул сундук, пошарил в правом углу на дне, достал шкатулку с секретом, дрожащими пальцами надавил и повернул влево кнопочку. Крышка открылась с хлопком. Серафим, чутко слушая все стуки и бряки на дворе, достал

карандаш, послонявил языком и стал записывать в два столбика различные и на сберкнижке.

Наличными были красненькие сотенные и синие полсотни. Он зачем-то понюхал стопку денег, оживился лицом, а глаза, всегда сонные и остекленело-запухшие, – глаза заблестели. Отдельно, на резиночке, доллары. Он знал примерную сумму денег, но докладывавал, не записывая, забыл точную цифру наличных. Сосчитав и наличные, и на двух сберкнижках – своей и Нюры, свел дебит и кредит: ну так оно и есть – три с половиной тыщи и две полсотки. Почти половина нужной суммы. И вновь роем понесли мысли все те же, так надоевшие: «Где взять? Как отдать? Сколько возьму за скотину, если продать осенью?»

Хозяин дома на окраине прислал Серафиму Волчихину уже третье письмо, грозил перепродать другому покупателю, так и написал, что охотников много.

В шкатулке были деньги «левые», – как сказал бы Серафим, – то есть наличные и его, а на одной из сберкнижек лежала тысяча Нюры. Счет деньгам вела не хозяйка, как это водится всюду, а сам Волчихин – так держалось в их семье со дня свадьбы. И только теперь Серафим понял, что так не так, а надо еще такую же сумму, да за ремонт – много... ему одному не достать таких денег, надо звать со двора Нюру, письмо ей показать, может, что-нибудь и присоветует.

– Нюра, Антон! – крикнул Серафим, открыв сенцы. – Идите скорее!

– Чего ты там орешь? – отозвалась Нюра, она кормила кур, Антон жег сухой вишняк.

– Иди сюда, говорю, Желтуха, – обозвал Серафим жену. – Чего

ты там, примерзла, что ли?!

Когда Нюра, а за ней и Антон вошли в дом, Серафим уселся с кубышкой на коленях, держал письмо в руках.

– На-ка вот, читайте, тут нас всех касается. Торопит, черт бы его побрал. Упреждает, грозит... Вот дела так дела...

– Кто грозит, чево грозит? – и робея, и вспыхивая, не поняла Нюра. Сказала Антону:

– Читай, у меня руки в месиве.

Антон читал, мать в упор глядела на письмо. И когда сын дочитал, сказала:

– Он же писал, что подождет, его же мы просили... Ну гадство, никому верить нельзя, ну и народ... Ни стыда ни совести.

– Занимать надо, – гнусавил Серафим, – а где займешь?

– А сколько есть-то? Сколько с моими-то? – Нюра хотела схватить кубышку с колен мужа, Серафим крепко прижал ее, не отпускал.

– Три с половиной да Осоедову за ремонт... Около четырех, – чувствуя, как сохнет во рту, считал Серафим.

– Тыщ? – удивилась Нюра. – На новые?

– Нет, на керенки, – нехорошо, сипло засмеялся Серафим.

В доме стояла мрачная тишина, все стали думать о деньгах. Несоразмерные с телом, длинные руки Нюры повисли, как обескровленные, как не свои. Возле запястья и чуть повыше, около локтя, красовались какие-то желваки, шишки вроде жировиков или грыж; до локтей, пометно-известково белы от мучного месива, картошки, крошек хлеба и комбикорма.

– Зайдем да дойдем, – неуверенно сказала Нюра. – К сеestre сбегая в Пронове... И тут, у ольховских, попросим... У Пети

деньги есть, у бабки Тыриной, матери своей, попроси.

– Да какая она мне мать? «У матери попроси», – Серафим встал и положил кубышку в сундук. – Ты же знаешь, она меня приютила...

– Да что же, плохая, что ли? Кормила, поила, дерьмо за тобой чистила, с тонну убрала. Расселся, как барин какой. Думай тада: куда идти, к кому в ножки бухнуться?

– Что-то я навроде как заболел, голова кружится, – бубнил Серафим, шаркая рукавом рубахи по лбу, вытирая пот.

– Больной, а хоть выжми. Думай, думай, чево ты ходишь, как маятник, – Нюра ругалась уже незлобиво, жалостливо глядя на мужа. – Думай... У тебя сельсовет-то работает... Смекай сам.

– Да тут и думать нечего, – уже увереннее и смелее говорил Серафим. – Зайдем. А за ремонт отдадим осенью. Антон нам поможет, в бригаду его запишу. Как начнет Осоедов ремонт, с ним будет работать, все же поменьше возьмет. Ты как, Антон, согласен?

– Помогу, только я в строительстве ни бум-бум...

– Да говорю же. Осоедов с бригадой. Под его дудку будешь плясать, ничего не поделаешь... Прожженный сукин сын Осоедов...

Отец трогательно жалко дышал голодной вонью, вблизи – зеленеватые глаза усталые, засученные рукава драные...

– Ма-мочки... Горбатились-горбатились, робыли-робыли и денег не накопили... – запела Нюра горестно и тихо. – Люди как-то ловчее уезжают, все у них как-то это...

– Да в чужих-то руках... всегда толще. Антон тут, я бы тебе сказал. Ты глянь-ка, хочет в городе жить, чисто ходить, сладко есть, а хлопотать – не хочет.

– Не ори! Не бояться тебя! – вскрикнула Нюра, хотя Серафим говорил спокойно. – Не ори, не разорься больно-то. Тыщу раз говорила, надорвалась я тут, чугунами ведерными да бадьями. Орать он будет, черт ластоногий, Нужда! Посмотри на мои руки, а в паху опять грыжа, ты же щупал!

Антон и Серафим засмеялись. Антон, волнуясь, закурил, мысленно совестил родителей. Каждый день так, с утра до вечера. Слушать больно. И вымотанная на вид, но неутомимая мать, сухая, как колючка, вечно дурно настроенная. И глаза ее в пустой тишине, устремленные на сына, каменные и большие, полные слез. Замученные глаза, а чем помочь?

– Человеческое веретено – вот что жизнь...

Серафим и Нюра разошлись от греха, с глубокими думами.

Завтракали поздно, с хлебом, хотя и черствым уже, охотно хлебали щи, таскали из миски баранину. А когда Нюра подала жаровню соленой гусятины, Серафим попросил плеснуть ему. И Нюра не вспыхнула, не заругалась, как всегда, а только скрытно полезла в закуток, достала початую бутылку и, внимательно наливая в стакан, спросила сына: «Тебе налить?» Антон отказался.

С совхозной скотиной убрались быстро. Солнце и теплый ветер хорошо просушили коровник, бригада во главе с Серафимом натрусила прошлогодней соломы под ноги нетелям. И коровник как бы преобразился: не так остро воняло навозом, чище и суше стало в стойлах. Пенсионерки подмели проход, а Петя Дрова-Нога наладил на всякий случай фонари, налил в них керосину и стал чистить стекла.

– Ну, теперь как в церкви будет, – говорил он Серафиму. – И без монтера можно жить. Вот ведь как-то, помню, при керосиновых лампах работали, управлялись тогда...

Бригадир сидел рядом с Петей, плохо слушал его болтовню, думал о своем, курил и плевал в колени. Петя старательно чистил стекла, изредка поплевывал на тряпицу.

– А было... лучше и не вспоминать... Коровник под соломенной крышей, воду бадьями таскали из колодца с журавлем. Я пас тогда. Мальчишкой был, помню вот как сейчас. Бывало, пожрать нечего взять. Мамка картохи нечищенной в сумку положит да хлебца корку – на весь день. И так все на подножном корму: где лучку дикого схватишь, где щавельку заметишь. Эх-хе-хе... А сейчас-то что-о. Крантик отвернул – водица пошла, теперь вот механику налаживать будут, вовсе легче. Зря ты, Серафимка, в город наладился, оставайся тут. Где родился, там и сгодился. Нам без тебя плохо будет, без полководца. А?

– Будя болты болтать, «полководец»! Вот несет ахинею... Да, может, и свет дали, надо включить.

Волчихин включил, лампы загорелись. И Нюра, и пенсионерки весело глядели на лампы, как будто увидели впервые. Петя вдруг вскочил, обрадовался, собрал фонари и потащил в пристройку.

– Живее, живее, – командовал Серафим, колтыхаясь на коротких ногах, как на ластах. – Открывайте кранты, наливайте воду. Эй, технорук! – кричал он Пете, зная его сообразительность, покладистый и ровный характер. – Эй, технорук, наладь-ка вот тут, цепь слетела.

– Иду, иду, – тюкая протезом на резине, отвечал Петя. – Иду я...

В это время Антон на кобыле верхом гонялся за нетелями. Веселое,

теплое солнце, чистое, с редкими облаками небо не давало покоя молдняку. Нетели веером рассыпались по ивовому котловану, по бурьяну, затянувшему пашню. Ходко шла скотина куда попало: тасовалась по кустарнику, лезла на озимые. Трава была еще так мала, что ее не ухватишь, а прошлогоднюю не щипали. И даже при ярком солнце грустно было смотреть вокруг, больно смотреть... Ходят по кругу: телята, пустырь, пастухи – все бесполезной и бессмысленной чередой, словно тень против солнца – печаль. Остаются на людях родители, говорят, догоняют – выхода себе ищут. И Антон ищет. Работа, работа... Черная, неизбывная, как тень по пятам, кажется – и уедешь куда-то, все не отстанет, дойдет. Земля томится от запустенья, от жизнью, вложенных в нее поколениями, сгоревших в труде на ней. И что же, уехать, бросить осиротевшее место, где родился и вырос, с ветлой и тополем-красавцем... Растащат, порубят, расковыряют, спалют и следы... А не уедешь – не вырвешься из круга... Жить – как мотыжить – трудно и грустно...

Нетелей кормили плохо и все хуже и хуже: барды, кормов не возили. С апреля они теряли привес, и бригада теряла в зарплате. Всей бригадой решили похлопотать и оформить в конторе Антона, просить трактор и возить корма в кредит.

– А чево же, – согласился Петя, – он нам вон как помогает. А теперь через недельку надо будет пасти с утра до вечера. Распогодилось, трава взялась, весна знает свое, одевает... Ну и, конечно, будем прикармливать чуточку, на ночь задавать сенца да двор убирать, чистить... Вон как жарит и палит: хорошо, хорошо... И ему надо одеться, обуться, жених теперь... А загонять не пора? Глянь-ка,

Серафим, сколько времени-то? Обедать давно уж пора...

– Обедать ко мне пойдем. Все. Все до единого! – рывкнул бригадир и позвал Нюру.

Все стояли у растворенных ворот, а Серафим чуть поодаль.

– Нюра, а Нюр... – возможно ласковее и тише просил умоляющим голосом Серафим. – Я тут всех обедать к нам позвал. Надо же отметить приезд солдата. Что мы... как это...

Нюра, большеглазая от голода и забот, смотрела на мужа грубо. Поправляла платок, потупив взор и как-то вдруг нежданно-негаданно для Серафима мило улыбнулась, просияла желто-большим лицом, проговорила ровно и искренне:

– А чево же и не пообедать? И пообедаем! Вот загоним скотину, отметим приезд сына честь по чести, ай мы хуже других, ай мы забыли обычай...

– Да, а это... – тут Серафим засучил на месте короткими ногами, подмигнул Нюре. – А это...

– И выпить найдем, – подобрела Нюра, догадавшись, о чем не досказал Серафим.

Волчихин удивленно пялил глаза на жену, улыбался от удивления и вдруг догадался, что Нюра права, что отчитывать его не время и не место, а взаимы брать придется. У гостей. Он украдкой подмигнул «супружнице». И все как по команде стали, образовав нечто вроде усеченного конуса, основанием к воротам, а вершиной – к выгону. Разом, сложив ладони патрубком, кричали Антону, чтобы загонял. Антон, стреляя кнутом с повивкой из кожи, быстро собрал нетелей, пригнал, ворота заперли. Не переодеваясь, все пошли в гости к Волчихиным. Антон, вспомнив про бабку, побежал за ней. Бабка сидела с паголенком

в руках, а рядом, на полу, клубок шерстяных ниток. Колдунья зорко глянула на внука из-под очков, отложила вязание.

– Пойдем обедать к нам, бабуля, – звал Антон, поздоровавшись с бабкой.

– Не пойду я... – ворчала та. – Обедайте без меня, бог с вами, не пойду.

– Ну что ты, – умолял Антон с дрогнувшим сердцем. – Отметим мой приезд, сразу хотели позвать, да хлеба не было. Бабуля, прошу, пойдем.

– Сынок, отец твой меня больно обидел, даве попросила дровец наколоть, заматерился, аки Каин. А я сколь за ним поухаживала, пожурилась, как родного любила. А теперь проснешься, лучше и не просыпаться – все тошно... Хлеб покупал, какой-нибудь конфетки не сунул, жамки не дал, пожалел к чаю. На пенсии живу, триста сорок пять целковых начисляют... Да мне и не надо, мне бы хоть ласковое слово, и я бы рада-радешенька, что не одна, горемычная. Ни напитков, ни наедков мне не надо, а тебе, голубчик, спасибо на добром слове...

Всегда ровная характером, добрая бабка вдруг заупрямилась. Антон сел рядом, не знал, как уговорить, а Колдунья все жаловалась на сына и на старуху Феклу. В старой, покосившейся, с окнами вровень завалинке-избушке было неуютно, запущенно. У порога лежала куча мусора, омызанный веник; пол утоптан, и видно было, что давно уж бабка пол мыть не могла, а только мела. Обои пожелтели, местами отклеились, кое-где зияли дыры, проточенные мышами. На окнах висели занавески, засиженные мухами, не стиранные еще с прошлого лета. В переднем углу, под грязным дочерна потолком блестел алюминиевой фольгой

киот, старая-престарая лампадка висела неподвижно на цепях. Сквозь двойные стекла рам сочился бледный полусвет, а на улице было светло, радостно, облака из белого фарфора, блестящего; скворец пел – как горох по блюду сыпал, играл горлышком, переливал...

– Силов нету убирать, – перехватив взгляд внука на киот и окно, жаловалась бабка. – Сам знаешь, какая у меня чистота была. Все блестело, а теперь...

Глаза бабки, полные, как осенние лужи, тоской и мукой, сколько они могли бы сказать, если сказали бы все... Разве не мог он помочь бабке: наколоть дровец, помыть пол, принести этих самых, как она их называла, жамок...

– Прости, бабуля, – покраснел, отвернувшись. – Никогда тебя не брошу, прости.

– Ну, чево ты, внучек. Это я на сына ругаюсь, ворчу. Не журишь, мне уж помирать пора, трясушка у меня в ногах и руках. Ноги не держат, слабость.

Бабка неловко, дрожащими руками потянулась к внуку, смагивая все набегавшие, застывшие, горячие слезы, да вдруг так порывисто, с таким горьким отчаянием зарыдала. Антон почувствовал, как зачесались и стали влажными глаза.

– Прости, бабуля... Верь слову...

В избе как-то стало тихо, до отчаяния, где-то за обоями скрипел жук-древоточец. Антон закурил неловко, сизый дым пронзили косые лучи солнца, беспорядочно, светлыми струями закипел он в лу-

чах с золотыми искорками пыли.

– Серафима я взяла к себе малого. Сестра моя как померла, я и взяла его. Сонной какой-то был, думали, помрет где-нибудь или трактором задавит, – рассказывала бабка, надевая в закутке новую юбку и кофту. – Какой-то блажной был, все не высыпался быдто... Сонная болеть, что ли, у него была. Бог его знает, ай испужался чего... С моей Катюхой, дочкой, стал играть, глядь – ожил, в школу пошел, то да се. Деда на фронте убили – одна с имя мучалась; сама кое-как, а им – почище да получше. А теперь вот Катюха укатила, мать не нужна, а сын тут все журился, пугается, слова ему не скажи...

– Ой, бабуля! – искренне удивился Антон, когда бабка надела новую бордовую кофту, юбку и шаль, подаренную им, он обнял Колдунью за худые плечи, взял под руку, и они вышли на крыльцо с косыми приступками.

...А в доме Волчихиных было весело. За двумя столами сидели гости в рабочих одеждах. В сенцах валялись боты, резиновые сапоги; гости разули обувь и сидели в носках. Антон помог бабке разуться, надел на ноги ей свои шлепанцы, сам зашел в носках, крепко держа бабку за локоть. И Серафим вдруг смутился, осоловело глянул на Антона, отвернувшись. Волчихин-отец потянулся к магнитофону, щелкнул клавишей – и понеслась хрипая, приводившая Ньюру в трепет мешанская песня, которую Серафим записал у знакомого шофера:

Что, друзья, со мной случилось?

Ой, ой, ой!

Вся семья моя взбесилась,

Ой, ой, ой!

А жена моя такая,

Ой, ой, ой!

Что врагу не пожелаю,

Ой, ой, ой!

В это время мать Антона, как всегда, бегала от печи к столам, подавала тарелки с закусками; на ходу перехватывала что-то, ела и все косилась на Серафима. Увидев свекровку, сказала громко, пере-

...Денежки! Как я люблю вас, мои денежки!..

И ваше нежное шуршание

Приводит сердце в трепетание,

Вы лучшие всякой легкой музыки

Приносите покой, ой, ой...

– Да это не Розенбаум...

И Нюра не выдержала, закричала срывающимся голосом:

– Выключи! Выключи!..

Антон, с укоризной глядя на отца, выключил магнитофон.

В середине стола стоял ведерный самовар, ослепительно блестел на солнце. Бабка, ни на кого не глядя, долго усаживалась, все поправляла новую юбку, одергивала кофту. По плечам, на старинный манер, модно раскинула она шаль, подаренную Антоном. Старухи – Фекла и Пелагея – щупали крылья шали, спрашивали, где купила. Было что-то детское, наивное и трогательное в этих стариках, живущих в ладу с землей, солнцем и совестью. Да, город и деревня – разные теперь измерения. Там, в Москве, ездят в бесшумных автомобилях, купаются в бассейнах с плавающими столиками, с танцующими голыми девками на стеклянном прозрачном балконе...

– Сами хотели свободы. Нате вам теперь свободу, ешьте ее, мажьте на хлеб вместо масла...

– Не-ет, не дураки русские, просто доверчивые, как дети, – спорил отец с Петей.

Задичали сады, задавили плющ и хмель деревья. Заросли малины. Вешним полем завладел березняк молодой – уедешь и все, забудет березняк...

крявая хриплый голос и музыку:

– Садись, садись, мамка, садись... Не обращай внимания: он меня теперь каждый день Розенбаумом пытается...

– Внучек подарил, – хвалилась бабка. – Из самой столицы Белокаменной вёз.

Мать складывает руки на груди, качает головой, глаза блестят, довольна. Французское шипучее белое вино из столицы играет пузырьками... Старухи пили, спрашивали Нюру, где это она могла купить такой напиток: и пьяно, и вкусно, и в голову кидается.

– Сын привез. И шампанское берегла к его возвращению, прятала вон от этого жреца, – все еще сердясь за музыку и дурацкие песни, в которых не поймешь, то ли поют, то ли ругаются, рассказывала Нюра. – Таймя таила, в потайном месте. Утаила-таки, вишь, как пригодилось. Да ты не наливай ему, отцу-то, шампанского. Пусть такую жрет, ему все нипочем.

И как это всегда бывает, шел беспорядочный разговор о привесе нетелей, про начальство: «Глаз не кажут в Ольховку – нехорошо».

Вспоминали управляющего, ругали заведующего сельпо. Говорили об огородах – пора пахать под картошку.

– Все иссякло, в землю ушло, снесено бурями. А баяли, всё будет, особенно так для фермеров...

Осыпался сад под окном чешуйками первоцвета. Белая, прозрачная помятая луна висела днем. Солнце отсвечивает. В жарком

небе без Бога пусто и бессмысленно...

– А-а, едрит-твою хать, у меня уже от жизни такой псих на нервной почве... – Петя Дрова-Нога опрокидывал рюмки, не закусывал и все стучал протезом под столом – хотелось плясать. Хвалили Антона, хозяйку. О Серафиме не говорили ни хорошо, ни плохо, как будто его и не было. Он и сам с ленцой ходил туда-сюда, подливая в лафитнички.

Волчихин-отец ел все подряд, да так жадно, с обжорством, как ели обычно злые ольховские мужики.

Чай пили с конфетами. Бабка пристроилась к краешку стола по-

*За грибами в лес девчата
Гурьбой собрались.
Как зашли в опушку леса,
Так все разбрелись...*

Голос ее задрожал, глаза заблестели, бабка преобразилась. Она смотрела уже не на Антона, а куда-то мимо, далеко, на сад, на шиповник за окном... быть может, в отлетевшую молодость...

После сытного обеда пошли все отдыхать. Стали одеваться, надевали сапоги, выходили на крыльцо. На дворе ждала-пожевывала чудесная корова. Вымя персиком пушистым, аппетитное. Мать тащила молоко в ведре – осторожно, как деньги в банк носят.

– ...А к весне волки ягненка растаскали...

Вышел отец: обрызг, глаза гноятся. Корова женственно шагала за гостями, попрошайничала. Шумели-журчали потоком воды по оврагу и по улице. Антон не отпускал бабку. Стали говорить о житье-бытье бабки, о ягненке, зарезанном волками, о ее дочери, которая укатила с зятем...

– Баб, а баб, кто же прозвал тебя Колдуньей, за что? – наседа-

сиротски, долго и звучно пила чай с блюдца – «так вкуснее». Глаз не сводил с бабки внук, все подкладывал ей конфеты, жамки, наливал шампанское. И бабку пробил пот. Краснея лицом, вытирая уголком шали мокрое лицо, воскликнула:

– И-и, внучек, жаланный, дай-ка я тебя зацелую!

– Бабка, спой-ка нам песню, – попросили, – ты мастерица была на старинные песни.

Поддержали. Все вразной стали просить. Накалились души, кровь струилась в жилах, и бабка все поглядывала на Антона, копалась в старческой своей памяти, вдруг запела:

Антон. – Ты такая добрая, хорошая и радостная...

– Колдуньей-то? Да теперь и не помню, кто первый прозвал. Да это ведь и не со зла, а вот что: любила я с малолетства со своей бабкой по лесам да по оврагам мотаться. Рыскали, бывало, травы собирали заговорные...

– Что за травы? – удивился Антон.

– Травы-то? – снисходительно к наивности внука отвечала бабка. – Травы-то? Да обыкновенные: зверобой, мята, дурнишник, дягиль, иван-чай... Мало их теперь, и названий не помню.

Это нынче вы как что, так и за фельдшером побежали, то да се. А тогда, как кто-нибудь занемог, заболел – ко мне. Ногу вывихнул – вправлю. От своей бабки наострилась. Особенно калину пареную советую тебе, парень, исти натошак. А на ночь, ко сну – кипяченое молоко. Утром – непременно чай с молоком. До ста лет проживешь,

если курить не будешь. Кинь сигарку-то, кинь, ну ее к лешему...

– А где же они у тебя, травы-то? Что-то я не видал их.

– Ну-у, какие теперь травы, все переродились или пропали от удобрений. А я и не вижу их, не собираю...

Волчихин-отец грузно сидел на крыльце, крепко навалившись локтями на перила, упершись кулаками в подбородок. Он все сопел, сопел и вдруг так захрапел, что бабка, увлеченная ладностью разговора, вздрогнула, покосилась и заворчала:

– Окаянный, ведь как напужал-то! Сердце оборвалось. Натрескался. Вот с малолетства в жратве нуждался: бывало, кормишь, чашку целую съест. Ну, думаю, наелся. Глядишь – просит: давай еще. «Да каша-то вся». А он: «Давай, мамка, всю...» Ишь, сонной какой, раскоряка...

Антон с трудом втащил отца, уложил в постель.

– Пойду и я, пойду я... – торопилась бабка, встала из-за стола и крупно, искренне перекрестилась.

Антон помог бабке одеться, укутал ее плечи старинным шушунном, хранившимся в ее сундуке, местами источенным молью (подарок внука она, аккуратно сложив, забрала с собой); под руку отвел старуху в ее избу.

Установилась жаркая, сухая погода. Не повисали над пустырем с курлыканьем журавли, реже тенькали пугливые синицы. Ольховские посадили картошку под соху. Наносило чешуйками первоцвета – белым снегом – с вишен. На единственной улице, возле домов, на заброшенных огородах и палисадниках – всюду тянулась к солнцу молодая трава. Пахло землей, и рано расцвели, влажно

дышали лесные фиалки. Там и здесь торчали сороки, а выгон занялся зеленью густо, и ходили вразброс по траве молодые, глупые ушастые нетели, с раннего утра до вечерней зари. Молодняк пас Антон, он оформился в бригаду пастухом. То верхом на кобыле, то пешочком, сильно жалея втайне, что не позаимствовал бушлат из части, танкач или хотя бы простую серую армейскую шинель с крючками-подтыками, – нечего теперь постелить на землю. Он водил под уздцы кобылу; нетели щипали, дергали сочную молодую траву, давали хорошие привесы. Волчихины получили зарплату около тыщи на круг. Серафим ходил в контору, получил зарплату на всю семью.

То дома, то в огороде, то занимаясь ремонтом и уборкой коровника, бригада работала с раннего утра до позднего вечера. Ездили на поклон к председателю за кормами. Предколхоза, здоровенный, кулаки – гири пудовые, красномордый, в модном плечистом пиджаке-размахае, отделялся обещаниями.

Антон в первые две недели сильно уставал. Одинокое гонялся он за скотиной сквозь сетки из комаров и фонтаны мошки, и далеко слышался его молодой крепкий голос. Он уже придумал клички озорным нетелям: Селедка, Воровка, были тут и Красотки, Рыжухи, Чернушки...

Молодой кустарник тоже все ярче одевался зеленью, преображался. А поздними вечерами, когда скотина была в загоне, любил он пройти тропинкой между выгоном и огородами. Цвели сады яблоневого розово-белыми цветами, буйными, необыкновенно ароматными. И в вечернем полусвете, когда солнце еще не зашло

за далекие черные леса, когда яркие отсветы ложились на соцветия яблонь, груш, доцветающих и порхающих лепестками вишен, когда земля под кронами сплошь была усеяна белыми чешуйками, Антон останавливался возле какого-нибудь заброшенного сада с разва-

лившейся баней и горестно вздыхал. Какие-то не до конца осознанные, противоречивые чувства охватывали сердце: было хорошо, радостно от аромата цветов и трав, красок заходящего солнца – и как-то тревожно. И проходя заветной тропой, он запел:

Яблони в цвету, весны мгновенье...

И было другое, противоположное, горестное чувство: сквозь цветущие яблони, вишни, груши там и сям серыми замшелыми тенями печально полулежали дворовые постройки, ни души там, ни голоса. И никто уже не зажжет света в этих домах, а в банях не заблестят светом одинокие оконца. Никогда не соберутся девки на лужок возле бывшей конторы, не запоют хором русскую песню... Теперь и им, Волчихиным, уехать... Кажется, вся Россия готова подхватиться и уехать. На Запад? Нужды нет, что за морем телушка – полушка. Чего только не вывезли из матушки Руси вместо «гуманитарной помощи» оттуда и денег займы под бешеный процент. Какие ценности, ожерелья – может быть, и царской семьи, все, что осталось... И какие Хаммеры-Баффеты-Соросы поддерживают этот поток? Эх, Россия, – «Пускай заманят и обманут...»? Слишком часто, часто поддавалась обману, распяли, кровь выпили!

Обломок луны исчез, свалился без звука за облако. Радуйся, Русь, каждому дню отсроченного голода. А над крошечным домом – крест-тополь да созвездия, словно мука ржаная, рассыпанная, Млечного Пути... То вдруг вспоминалась десантная служба, и Антон мысленно спрашивал себя, как бы проверяя свои чувства: «Что же так томило и мучило на службе? Почему же так часто видел он во

снах эти сады, зарю, гулянки до утра, скачки в ночном, спозаранку, взпуски, с мелькавшей внизу травой? Почему больше всего помнится это и где оно теперь? Что же это за чувства, стеснявшие его сердце, которые не давали спать, мучили и томили?...»

Шагах в трех от тропинки, широко раскинув ветви, стояла брошенная хозяевами яблоня, в таких буйных красках, что листьев не было видно. Розовый отсвет потухшего солнца, казалось, еще играл на лепестках. Яблоня как бы светилась изнутри, и от легкого дуновения ветра осыпались соцветия, порхали, играя светом. Антон подошел к яблоне вплотную, пил запах цвета, и сердце заволновалось, пьянея от счастья. Вспомнил он, как гулял тут с девчонкой, прячась от посторонних глаз. И все было больно немеркнувшей памяти...

Тропинка к дому совсем выросла муравой, виляла влево, вправо, пропадала, и Антон стал вновь искать глазами примятую траву. Солнце опустилось за леса, все окрест наливалось сумерками, блекло и как бы выцветало. Где-то забрехала собака, на скотном дворе мычала корова одиноким сиротским голосом. И вот уже совсем стихло. Стирались, размывались во тьме очертания предметов, исчезли кустарники на выгоне, а в окнах ярким блеском вспыхнули огни лампочек. Где-то гремели у

колодца цепью о ведро, закашлял надсадно Петя от табака, и все стихло, как вымерло. Темнел лес, и сияли звезды.

– Антон, Антон! – звал отец. – Антон, иди ужинать!

– Черт бы все побрал, – рассердился Антон. Сейчас, как всегда почему-то за столом, вновь начнется та же история – городской дом, деньги, Осоедов, и как и на какие шиши купил он автомобиль...

Антон утробно не переносил этих ссор, этих вечных перепалок отца с матерью. Все эти хлопоты вокруг дома казались мышшиной возней, и тянуло почему-то к бабке. Старуху мучила бессонница, она ложилась и вставала «в ряд с курами»...

– Антон! – уже совсем близко кричал отец.

– Иду, иду, – сердито бросил Антон. – Иду, не ори!

Мысленным взором Антон представил отца и мать, удивляло это единство противоположностей; отец всегда ел с обжорством, спешил, жадно глотая баранину, мать – почти всегда мало. Мало спала, мало ела, на ходу жевала, бегала от печи к столу. Отца, больного тучностью, несло во все стороны, даже ноги теперь казались корочке; мать исхудала до желто-зеленого лица, как будто отец медленно высасывал из ее хрупкого тела все соки жизни.

Было уже и совсем темно, блестя в окнах огни – как будто висели за листвою золотые квадраты окон. И в этом блеске, в жалких избях и домах виделись за столом старухи, одинокий инвалид Петя, и сердце ныло от жалости и тоски.

Антон прошел огородами, отпер ворота и со двора вошел в дом. За столом сидел отец и жадно наворачивал картошку-«толчок». Мать

гремела заслонкой, печь топилась ярко, пламя озаряло ее лицо.

– Мать, – говорил Серафим, – верти хвостом, подавай на стол...

И мать, худая, как старушка (печень под сердце давит), двигала губами, крепилась, терпеливо сносила эти вечные глупые шуточки. Антон умылся, надел чистую пижамную пару и сел за стол. Мать принесла горшок молока; он опустошил горшок до дна и вдруг почувствовал усталость, лицо горело от загара. Он бросил косой взгляд на отца – тот все наворачивал, навораживал картошку, запивая парным молоком.

– Ныне корова дала цело ведро, – сказала мать. – Пейте вдосталь, со свежей травы молоко полезное...

В доме, опущенном в сумрак, ярко светили лампочки, трещали в печи дрова. Напившись молока, Антон включил телевизор и долго смотрел кино, потом концерт. Отец спал в кресле с храпом, а мать все торчала в кухне, гремела посудой. Но вот и мать улеглась спать. Потушив свет и выключив телевизор, он долго еще сидел и курил у раскрытого окна. Чернота ночи, пустыня. Ветер надувал занавески. Отец храпел на все носовые завертки. Антон разделся, лег и заснул сразу.

Утром мать подошла к дивану, долго стояла перед спящим сыном. Лежал вверх лицом, дышал неслышно.

– Антон, вставай. Вставай, пора выгонять скотину.

Милый платок матери да зеленая кофтенка. В глазах – песчинка печалинка...

Антон с размаху повернулся на бок, подобрал большие ноги под себя. И Нюра не рассердилась, а только улыбнулась, вспомнив, как

будила сына в школу; он ходил в ближнее село за семь километров, окончил там десятилетку.

– Вставай, сынок, – умоляла мать, – вставай, пора... Взяла за руку...

Антон поднимался медленно, как перед демобилизацией, кулаками тер глаза. Нюра собрала позавтракать на стол: были клецки, молоко, заварила из теста «хворост» в распущенном коровьем масле...

Серафим очухался и все ворочался с боку на бок, курил и кашлял, как бы с удовольствием вскрикивая сиплым альтом.

– Рано встали, – говорил он, – много напряли...

– Садись, садись за стол, все никак не накуришься... – ворчала мать, морщилась от густого, вонючего дыма дешевой сигареты.

Отец долго одевался, все ходил босой. За столом ел «хворост», запивая молоком. И вдруг спросил мать:

– А селедочки нету?

И мать, и Антон весело переглянулись.

– А чево?

– Мне посолониться хотца.

– Да ты что, – рассердилась не на шутку мать. – Что ты, в самом деле, ай забеременел? Ай сдурел?

Антон захохотал, вылез из-за стола и пошел к скотине.

– Деньжонок-то дали? – вкрадчиво спросил Серафим возможно ласковее, пытливей.

– Дали, дали, – Нюра обежала всю родню, собрала три тысячи.

– А наши, ольховские?

– И ольховские дали. У Пети заняла, у старухи. Не прежние времена, есть в загашнике... Ну, наелся, нет?

– Наелся! Наешься тут с вами!

– Серафим бросил ложку и стал

считать деньги, раскладывая, разминая и встряхивая, – хоть бы клечки, посолониться... Ну, теперь в долгу как в шелку, – поплеывая на кончики пальцев, бубнил он и понюхал деньги.

– Чево ты их нюхаешь-то? Деньги-то? – убираясь с посудой и печью, удивлялась Нюра. – Ты чево-то ныне? Не очумел?

– Да вот, считаю и нюхаю.

– Да чево считать-то? Гля-ко, считает и считает, ай прибудет? Их уж и кто давали – считали, и я считала. Чево ты?

– Ладно, не вякай. Думай, как отдавать будем. Ну, дела-делишки. Надо ехать отдавать задаток, чево же годить-то. А жалко... целая куча.

– Когда поедешь-то?

– Да когда, хоть бы вот ноне? Вёдро, хорошо... С такими деньжищами ехать-то страшно.

Нюра убралась в кухне, села рядом. Ворох денег лежал на столешнице.

– Что же вечером не сказал, что поедешь? Антон уж ушел.

– Поди смени его, – сказал Серафим, закладывая деньги в сберкнижки и заталкивая в глубокие карманы штанов. – Петя со старухами один управится. Ну, дела. С такими деньгами ехать-то...

– Ну заладил, испугался. Антона возьми, покажешь ему дом. Ну и тугодум ты. Собирайся тогда, почище рубаху надень, костюм новый, все же в люди едешь... Вот Антону чево надеть? – Нюра стала собирать мужиков в дорогу, побежала в горницу, вытащила из шкафа рубахи.

Волчихин-отец, чтобы не тратить денег на еду, отрезал кусок соленого свиного сала, сварил пяток яиц, нарезал хлеба. Складывая все в сумку, думал, как бы чего не

забыть. Нюра выложила белье и сыну, и мужу и побежала за Антоном. Верхом на кобыле приехал Антон. Переоделись.

– Справишься со скотиной-то? – спросил Серафим Нюру.

– Оне нынче хорошо ходят, трава густая, молодая. Ну, давайте-ка сядем перед большим делом по обычаю... Антон, у печи не садись, что тебе, места нету ай неприметливый?

Нюра тяжело вздохнула, опустилась на лавку, сложив некрасивые, в желваках, руки на коленях. Рядом сели отец и сын. Посидели с минуту...

– Гоняйте, гоняйте, – вставая с лавки, сказала Нюра, бездумно перекрестилась на иконы, которые остались в доме. – Смотрите там, с деньгами-то, Антон. Смотри за отцом. Чтобы там с Осоедовым ни ни, а не то они как схлестнутся... Я их знаю.

– Ладно, ладно, все будет пучком, – отвечал за Антона Серафим. – Не волнуйся.

Нюра проводила мужиков до дороги, заперла дом. Серафим и Антон ходко шли большаком, – там пылили машины, курсировал рейсовый автобус, утром и вечером.

Солнце светило несмело, неярко, поля были покрыты мелким дурнишником и мышинным горохом. Сине-розовый рассвет загорался неохотно, туман шел из балок. Густая вязкая тишина как перед дождем, с птичьей возней. Кое-где уже всходила, пробивалась ростками картошка, и везде видны были мелкие трещины в земле от жарких дней. Дождей не было недели три. Картошка дала всходы чахлыми, бледно-зелеными морщинистыми листьями, и

Серафим, шагая рядом с сыном, сказал:

– Дождичка бы теперь на картошку... Если еще с неделю постоит такая сушь – выгон выгорит, оголится. Молодняк выбьет весь корм.

Порывами дул сухой ветер. Было рано, но уже чувствовалось, что день будет жаркий и сухой. Шли мимо редких болот с непролазным ивняком и ежевикой. Полевая дорога, разбитая колеями и разъезженная тракторами, была чугунно тверда грязью, сухой, трудной, неудобной для ходьбы. Дорогой говорили все о городском доме, о деньгах – жалко было отдавать, зарабатывать трудно. Да и знают ли они, городские, как трудно зарабатывать...

За болотцем в стороне от большака тянулись грузовики и легковушки, разматывая пыль.

– Автомобили еще остались!.. Кого-то еще носит сюда из райцентра...

Серафим шаткой походкой спешил за Антоном, норовя попасть в ногу: рубаха на нем взмокла. То и дело останавливаясь и закуривая, он все повторял: «Не спеши, успеем, сынок. День велик, не спеши...»

– Не хочется мне уезжать из Ольховки, – вытирая мокрое лицо платком, говорил Антон. – Родился тут, вырос, во сне ее видел...

– А мне, думаешь, хочется, – колыхаясь животом под тонкой рубахой, отвечал Серафим. – Мне и подавно не хочется, малый. Я тоже тут родился. А что сделаешь. Жизнь не переспоришь: ты со своим, она – со своим. Когда-то, в двадцать девятом году, сюда приехали молодые семьи. Ни радио, ни телефона. А теперь вот уже

почти все разъехались. Хорошо хоть электричество есть, а то-о...

– А когда же электричество провели? – спросил Антон.

– Да году где-то в пятьдесят пятом. Я еще малой был, босяк. Ох и радовались, помню, тада... Старухи, старики смотрели на лампочку как на чудо. Монтеры ставили столбы, квартировали у нас, на гармошке играли. А теперь вот видишь, все зря... Вот как повернуло, без хлеба сидим. С неба манна не повалится, в конторе нас не посадят. А чего стоят деньги, если на них нечего и негде купить. Деньги не съешь, а в город и в хорошую погоду не вырвешься от скотины. Вот скоро пойдет покос, с зари до зари будем пластаться.

– А если в Пронове, в центральной усадьбу дом перенести из Ольховки? – говорил, поспешая, сын...

– Да думали. Не годится. Строили дом-то в двадцать девятом, ошалевали перед войной. Я как-то ковырнул топором – углы гнилые до верхнего венца, а нижние бревна – труха. Вид только один. А строить дом в усадьбе – не дожидаться. Семь лет назад заложили трехэтажный и прошлый год бросили, да и только. Особняки под городом строят в два-три месяца, вот это да. И сколько их заложили, покупай не хочу. Тыщ по сто двадцать пять платить за них в рассрочку, а за которые и больше. Поплати-ка, жизни не хватит моей и тебе еще не расквитаться... Всё уж передумали с матерью. И на нее смотреть больно. Ты же сам видишь – больная, что-то у нее печень, что ли, болит... Шут ее знает. И в больницу не ложится, хозяйство боится на меня оставить.

На большаке стояли долго. Машины не останавливались, проносились мимо. Утренний рейсовый автобус уже ушел. Серафим угадал совхозную машину, стал на середине дороги. Шофер остановил трейлер, грубо спросил:

– Чево тебе, Нужда?

– Подбрось в центр. По делам спешу, выручи...

Волчихины сели в кабину, вглухую подняли стекла от пыли, покатали. Толстое колено Серафима мешало ручке переключения скоростей. Хорошо и вольно было ехать родными, знакомыми полями, уже сплошь сияющими зеленью, поросшими озимыми хлебами. Ехали лесом, свернули в город. Шофер высадил пассажиров, Серафим полез в глубокий карман, вытащил мятый «чирик», шофер заматерился, не взял, дал газ и свернул влево. А Волчихины пошли сначала к Осоедову, на стройку. Искали долго, спрашивали прохожих в спецовках, нашли. Осоедов сидел в вагончике на стальных полозьях. Отец и сын зашли, поздоровались. Осоедов глянул на них исподлобья. Перед ним лежал большой грязный чертеж, местами продраный, зиял дырами. Сильные широкие ладони громоздились на чертеже величественно, как у какого-нибудь управляющего или у генерала перед сражением. И что удивило Антона, руки эти никак не походили на рабочие: холеные, ни мозолей, ни грязи под ногтями.

Серафим начал говорить издалека, намеками. Осоедов нервно захлопал ладонями, нетерпеливо ёрзал в кресле, хватал телефон и громко орал в трубку. А когда звонило начальство, как-то вдруг снижал, голос его менялся, улыбкой

озарялось лицо, блестяли запухшие похмельные глаза, мешки под глазами расплывались.

– Ну, чево пришли. Говорите короче, некогда.

– Сам знаешь чево, – огрызнулся Серафим, давно и крепко томившийся его ором. – Дом-то этот, это...

– Ну чево, «это», «это»? Дом хороший, стены сто лет простоят, фундамент крепкий. Старинная постройка, купец, говорят, строил. Строил его себе. Ну мы же говорили про дом, Серафим, чево ты?

– Да, помню, помню, – виновато отводя взгляд в сторону, отвечал Серафим, – помню. Это, мне надо знать: сколько все про все возьмешь за ремонт дома? «Особняка»-то, как ты говорил?

– За тем и приехал? – удивился Осоедов.

– За этим и по другим делам...

– Не такие дела стряпали, ремонты проворачивали, а тут – дом. Хе-хе-хе... – тут Осоедов нехорошо, с фистулой засмеялся, и от этого смеха и вида Антон содрогнулся: так смеялся этот человек, глаза черные, острые, изо рта – голодная вонь.

– Плевое дело, – продолжал нести Осоедов, – за милую душу совастожим! Глянь-ка в окно, сколь домов у меня, глянь...

Антон знал Осоедова до службы, но тогда он был как-то попроще, а тут все какие-то слова: «за-ради бога», «за милую душу», и этот противный смех, эти крупные нахальные белые зубы... Сидит, расставив ноги, телефонной трубкой поигрывает. Как-то пришло в голову: вот сунуть в его жаркую пасть руку – враз отхватит, как пилой.

– ...У меня бригада ух! Работает моя бригада до двух. До двух

ночи, ха-ха-ха... Пошебаршим это дело, провернем, – смотрит пристально на отца, на его карманы, в глазах – тревожный яд похоти дежной.

– Да сколько же возьмешь, чево томишь-то? – Серафим смекнул: помалкивает, медлит, знать, заломит цену... Обдерет, недаром он так разговаривает, нахрапом.

– Антон, выйди-ка на минутку, – Осоедов говорил тоном начальника. – Выйди-ка, выйди, мы тут обговорим, обсусолим кое-что.

И как только Антон с размаху хлопнул дверью, Иван Осоедов по прозвищу Шельма вдруг поднялся с вертящегося кресла, крепко опершись на стол, сказал Серафиму:

– Мы же говорили, три куска готовь, чево неясно-то?

– Три тыщи? – удивился Серафим.

– Нет, рубля! – громко, отвернувшись от Серафима, с каким-то отвращением зашептал Шельма. – Ну народ пошел... Я уж и мужиков подбил на это дело, понял? Материалы подбираем, бригаду, понял?

– Понял, понял... Чем мужик бабу донял, – тоже сорвался Серафим. – Я тебе сына даю. Сына, на все лето, в работники. Скости хоть малость, Ваня, свои же, ольховские, чево ты? Я вот отдам за дом – и сам на шишах останусь, портки купить не на что. Антон – он дурака валять не станет, парень надежный, электрик, водитель, отнеси, поднеси, то да се... Помощь большая, и посторожить ночью...

– Сторожить будет он свой дом, имей в виду...

– А материал, краски, доски – твой?

– Ладно, готовь еще восемьсот, ладно, – хватая неистово, сверчком

трещавший телефон и лаясь с кем-то, торговался шельма Осоедов.

– Заломил цену, мля, – ворчал Серафим. – Восемь сотен, а где их взять? Останусь как сокол...

– Работайте, работайте, мать-перемать! – орал Осоедов в трубку. – Че-во? Раствор? Пошлю, я их понужать буду, я их? Порешаем, все вопросы порешаем, работайте...

Антон слышал этот ор, сидя на скамеечке в тени вагончика. Краем уха ловил и ответы отца. Хотелось вытащить отца за руку, уехать домой. Знал он: с шельмой Осоедовым мало кто в Ольховке схлестывался в делах. Мимо проезжали самосвалы с раствором, всюду валялся кирпичный бой, бумага, фляги с краской, битое стекло.

– Ну, договорились? – бросив трубку, спросил Осоедов.

– Договорились, договорились. Ты меня к стенке прижал, знаешь, что я не выкручусь...

– Ну вот, опять не так. А чем же я мужикам платить буду? Своими? А материалы у тебя есть? Ну вот, то-то и оно-то.

Волчихин уже встал и направился к двери. И как бы между прочим, просто так Осоедов спросил:

– А свой-то дом куда? Продашь? – и покосился на окно.

– Кому его продашь? На дрова никто не берет. Сам, если что, выберу для дров. Ты же знаешь, чего же спрашивать.

– Ты-то как словчил? Свой-то дом?..

– Тише ты, черт, Нужда, – Осоедов стиснул кулаки. – Ты что это себе выдумал? Ты это о чем?

– А чего же ты тогда, в августе, шатался по лесу-то? За орешками да за грибами? Так я тебе и

поверил. Да и сушь стояла. Во всем лесу хоть шаром покати...

– Ты же знаешь, что... Пошел ты!

– Сколь оторвал-то? Говорят, сорок семь тыщ? Страховки-то? Бают, в трех банках застраховал? Хорошо, что успел до кризиса, а то бы шиш заплатили, прогорели банки-то. Все рассчитал, молодец, Ваня. Так сколько, сорок пять или сорок семь?

– Сто раз по сто! – зашипел Осоедов, чувствуя, как падает сердце и сохнет во рту. – Не твое дело. Позавидовал? Я свое дело открыл, тебе помогаю...

– Да вас же таскали, милиция в Ольховке была. Не сказали. А подзревали, я промолчал... – Серафим подошел к столу. – Я промолчал, Ваня, а я мог бы тебя вывести на чистую воду.

– Ладно, ладно, не горячись. Была милиция, таскали меня, Варю. Ну и что? Допустим, и я... Что, руку-ногу там оставил? Чего ты мне мозги-то конопатишь, чего муму-то... Ты о себе говори, пришел тут, глядите, чужие деньги считать. А хочешь, я плюну на твой особняк, поищи плотника, маляра, мастеров... Купи краску. Хочешь?

– Ладно. Не мое это дело, – посмотрел из-под бровей Серафим, – не мое это дело, как ты в люди вышел. Помоги мне с ремонтом. Денег я занял. Когда тебе готовить деньги?

– Ну вот, это по-нашему, по-соседски. Деньги, половину, отдашь к сентябрю, сможешь? Остальные – когда отремонтируем. Все без обмана, сам примешь работу. Если не будет у тебя к сентябрю – своими заплачу. Потом отдашь, осенью ли, зимой ли, когда будут... Ну, по рукам?

Осоедов вышел из-за стола, подал руку Волчихину. Строгое скуластое лицо подобрело, белые зубы...

– Эх, Ваня...

– И магарыч привез?

– Привез, – полез в сумку Се-
рафим. – Первачок... Сам не при-
губил, тебе совастожил.

– А сало?

– И сало привез.

– Ну, брат, уважил. Знаешь
мой вкус...

Волчихин отдал Осоедову грелку с самогоном-первачом, большой оковалок свиного сала, аккуратно завернутый в чистую белую тряпицу, и, уже подходя к двери, сказал: «Чем богат, тем и рад».

– Ну, чево там, свои люди, – и
вовсе уже дружески, родственно
говорил Осоедов. – Друзья дет-
ства, чево там... Да я и не себе,
надо же мужиков улестить, свои
ребята. Глянь-ка в окно-то, никто
не стоит, не торчит?

Волчихин подошел к окну, вы-
глянул. Никого не было, кроме Ан-
тона. Антон подбрасывал камешки
и ловил в кулак. Осоедов встал на
четвереньки, завернул в спецов-
ку грелку, сало и спрятал, набро-
сав сверху еще какую-то грязную
рвань. И тут уже не спорили, а шу-
тили, называли друг друга по про-
звищу: «Ну, Шельма, ну и плут...»
А Осоедов: «Эх ты, Нужда, Нуж-
да... Рогамы же надо шевелить...»

– Привет всем нашим, Нюрке –
привет... Скажи, что все будет сде-
лано как в лучших домах Лондона,
Сан-Франциско... – и Осоедов по-
спешил куда-то без оглядки.

Волчихины шли по утоптан-
ной тропе, свернули на дорогу.

– Ну, чего решили-то? Догово-
рились? – спросил Антон отца.

– Договорились... Обдирает
как липку, сволоочь! Всю скотину
продать – может, хватит за ремонт
заплатить. Да тебе тут придется
горбатиться все лето, еще и сторо-
жить... Называет другом, а обирает
кругом. Такого в Ольховке сроду
не было, чтоб своих обдирать как
липку. Бывало, сторит ли чей дом,
или кто-нибудь пристройку заду-
мает, помогали даже бабы, стару-
хи, дети. Всем миром шли. Ребя-
тишки, помню, мох теребили. За
два-три километра ходили, суши-
ли там и таскали хозяину. Денег
сроду не брали, за позор считали.
Вечером, бывало, уж наработаю-
тся вдосталь, хозяин мужикам вы-
пить даст, попотчует чем может.
У дома на бревнах молодежь соби-
рается, балалайки, гармонь, танцу-
ют молодые, выпивши – старики
любуются, старухи судачат после
сытного стола. И хозяину-горемы-
ке как-то лестно, что вот люди по-
могают, – как праздник. И сам, ко-
нечно, как выберется из нужды та-
кой хозяин, шел другим помогать.
Не звали, заметь, сам шел. А сей-
час черт его не знает... Одни Осо-
едовы – сволочи. Как птицы пере-
летные, как кроты. Каждый себе
норку роет, свое гнездышко вьет,
а уж помочь – не-ет... Ну, хоть не
обдирать – ни-ни... По Ольховке –
не деревня, а кладбище гнусное, на
юру – как Мамай прошел. И где те-
перь наши деревенские только не
околачиваются: кто в райцентре,
кто в Рязани, кто в Москве. Уеха-
ли. А чево уехали? Искать чево?..
Жизнь какая-то стала волчья: хап-
нул – твое. Не хапнул – сиди го-
лодай. А главное – жадность. Все
чево-то запасают, навроде как ни
дети, ни внуки не смогут зарабо-
тать себе хлеба кусок. А на деле
что получается?

– Что? – Антон слушал с интересом.

– А то, что иждивенцев себе готовят, прохвостов, неработей, пьянь. Теперь вот еще, слышал, наркоманы появились. Нюхают всякую гадость. От безделья. И как бы родителям же – в протест. От безделья, заметь, поведет на что угодно. Вот тебе и жалость, вот и город.

Волчихин-отец ворчал. Спина взмокла от ходьбы, рубаха прилипла к спине. Полуденное солнце жарило и парило нещадно. Шли пустырями, оврагами, плутали сквозь куцые пыльные кусты городские. Что-то очень человеческое было в словах и в глазах отца, не подыщешь слова...

Окраина – большая деревня, разнесенная в пух и прах городом, – напоминала последствия войны, как их показывают в кино: валялись обрывки проволоки, гнилые бревна, развалившиеся постройки, рельсы, скореженные листы жести... Сваленный окаменелый раствор возле недостроенного дома высился горой, прочно схватившийся, загромождал тропу. Вдоль какого-то забора прошли свалку. Крысы стайей бросились в щели.

– Вот и пришли! – радостно сказал отец, тяжело пролезая в тесную щель покосившегося частокола, отпер ржавый замок. – Заходи, сынок, будь как дома.

На прогнивших половицах валялась штукатурка. Выбитые стекла веером валялись. Разбитые бутылки, пузырьки из-под лекарств и одеколona, черствые ломти хлеба и мышинный помет. Серафим с отвращением отвернулся. Антона заташнило.

– Сволочи, – заругался Серафим. – И тут были. Мало что пьют

тут, так нет, надо гадить. Прошлой зимой приезжал, убрал, снова накидали. Ну, зато в городе будем жить, ты в окно глянь-ка...

Антон посмотрел в разбитое окно. И тут, как и по всей окраине, валялся всякий прах. Антон пропел: «Все ошурки, чурки, шкурки и веревки-пузырьки...»

За канавой с кучей хлама – березовая роща, молодая и веселая, куртинка сплошь желтела курослепом. А дальше и правее рощи – железнодорожный мост. Временами, трогаясь с полустанка, ныли гнусавые электрички, наливные составы проносились с адским грохотом; слева и справа – глухой серый забор, выше забора – пятиэтажные дома, отчасти заселенные, на балконах – как корабельные флаги расцвечивания, колыхались по ветру простыни, белье. Антон хмурился, ничто не радовало глаз. Серафим взглянул на сына, проговорил:

– Меняем шило на мыло. А что сделаешь? Победствуешь, посидишь без хлеба, без света – поедешь.

И вдруг показалось, почувствовалось в эти минуты, перед тем как отдать остальные деньги хозяину, какая злая, не совсем понятная, чужая и враждебная сила уводила их в город на жительство. Чуждо было тут все: люди незнанные-незнакомые, грохот тяжелых наливных составов, скученность домов, сараи, латанные ржавой жестью, люди – до жути равнодушные...

– Ты тут когда будешь с ними работать, с этими шабашниками, гляди за ними, алкашами. Осоедову говори, если что. За ними гляди и гляди, а то все пропьют, весь материал, натворят тут делов, – напутствовал Серафим сына.

Волчихины вышли из дома, заперли дверь. Долго кружили, останавливались, спрашивали встречных; выбирались какими-то огородами. И когда добрались до остановки, час ждали автобуса.

Пегая рощица за автобусом процеживала пыль. Серафим уже забыл, куда ехать, все глядел на письмо с адресом, спрашивал пассажиров.

С трудом отыскав пятиэтажный дом, квартиру, они позвонили. На звонок вышел молодой лохотенный «господин» московского вида, с бородой и усами, в кожаной стильной безрукавке, черный, как деготь. Серафим сразу узнал хозяина. Поздоровались, сняли обувь. В прихожей на гвозде висела черная шляпа с широкими полями, так что Антон мысленно окрестил его «раввин». Прошли в светлую захлавленную комнату с яркими обоями.

– Кофе будете пить? – спросил хозяин у них, деревенских мужиков.

– Нет, – разом ответили Волчихины.

– Чаю?

– Мы не чайные, – пытался шутить Серафим, скрывая неловкость, обливаясь потом и томясь духотой. – Давай, хозяин, сразу об деле... Где бы нам, Генрик Силимонович, приладиться с деньгами-то...

– Генрик Соломонович, – поправил хозяин, засмеялся. Смотрел на Волчихиных с интересом и снисхождением и так весь разговор посмеивался, пощипывая бороду.

– Ну-с, ну-с, об деле, об деле, – повторял он.

Серафим полез наконец в сумку за кубышкой, – он переложил дома деньги из карманов в

кубышку, – что-то хотел сказать, поладиться напоследок. И вдруг скрипнул замком сумки-самосвала, выставил кубышку и, высыпая деньги на стол, нервно потея, сказал с безнадежным отчаянием:

– Считайте, Генрик Соломонович, мы считали. Должно быть верно...

Хозяин считал, как показалось Волчихину-отцу, так хладнокровно, как будто это были какие-то разноцветные бумажки, фантики. Только к долларам отнесся с уважением, отслюнявил их отдельно, собрав пальцами в перстнях. Потом небрежно смахнул всю кучу в ящик стола и сказал: «В расчете».

Волчихины вернулись сумерками. Хмурые, усталые, в дорожной пыли. Сняли рубахи и долго с наслаждением пили воду, умывались. Нюра, боясь злить мужиков, поливала им на руки, спину воду из ковша, хотелось расспросить про дом. И договорились ли о ремонте с Осоедовым. Мужики кричали от удовольствия, Антон плескал пригоршней воды на грудь отца, тот отскочил, как ужаленный, заревел по-медвежьи.

Расспросы начались за ужином. Ели «толчок» – толченую картошку с маслом. Как только Серафим наелся, глаза его помутнели, посоловели. Он основательно облокотился на столешницу, как всегда.

– Ну чего, как? – спросила Нюра мужа.

– Просил три тыщи, три куса, – разумея Осоедова и говоря его словами, отвечал отец.

– Три тыщи! – мать всплеснула руками. – Ба-атюшки-светы, три тыщи! Да я бесплатно ему помогала, когда они строились. Ну и как, сладились?

– За восемьсот да Антона берет в бригаду. Помогать будет и дом охранять, доски, краску.

– Ой-ой, – Нюра кинула ложку на стол, заплакала. – Чем и отдавать будем, порток не хватит...

– Да то еще не все, – бубнил Серафим. – С переездом только свяжись. Поговорка есть: «На одном месте и камень обрастает». Теперь и нечего муку молоть, поезд ушел. Деньги отдали, с ремонтом договорились.

– Когда же Антоше в город? Когда собирать-то? – заблажила Нюра, вытирая передником мокрые глаза.

– Да хоть завтра. Чем скорее, тем лучше. От этого городского дома сердчишко почернело. Переел печенки этот дом.

Серафим бубнил, сыто рыгал, стаскивал с себя штаны, укладывался спать. Антон сидел возле телевизора, шелкал переключателем. «Ну, – думала Нюра, – теперь хоть шаром покати, без денег остались».

– Да, – словно отвечая ее мыслям, сказал Серафим, лежа в постели, – теперь не думается, считать нечего.

– Ну, чево же? Антона собирать?

– Собирай, ждать нечего. Антон! – крикнул Серафим с кровати. – Антон, ты как думаешь? Поедешь завтра? Сторожить? Дом-то?

– Надо ехать, пусть Осоедов делает, я помогать буду.

– На выходные – домой. Не торчи там попусту. Замок навесь – и домой, – назидал Серафим сына, хотя по дороге все обговорили.

Все лето Антон Волчихин жил в райцентре, приезжал только раз, за продуктами и «горючим» для всей бригады. Мать, выбиваясь

из сил, работала по хозяйству, стерегла, выбирала для бригады харч: куски свиного сала, первый цветочный мед. Когда Антон приехал, Серафим и Нюра битый час расспрашивали его: «Ну как там с ремонтом?»

И Антон подробно еще и еще раз рассказывал, что работают там дотемна, сам Осоедов командует, краску таскают со стройки, стекло для окон – тоже. «Как бы не нарваться на милицию, взгреют...»

– А мы-то тут при чем? – не соглашался Антон с матерью. – Взгреют Осоедова.

– Да нам же делают! – спорила Нюра.

– Такие делеги эти осоедовские маляры, – рассказывал Антон. – А плотник – алкаш. Часу не пройдет, все «налей-ка, налей-ка».

– Ха-ха-ха, – смеялся раскати-сто Серафим, – наливай, наливай, пусть жрут. Я тут натурю. У меня мешок сахара. Участковый с августа носа не кажет. Ты смотри, сынок, чтоб все было путем... А то, слышь, монополию на водку придумали, не попади под горячую руку. Прячь подальше грелки, в землю зарывай, а то теперь, говорят, в городе-то собак натаскали самогон искать и наркотики.

Глубокими ночами, в дождливую и ветреную погоду, Серафим «турил», гнал самогон в бане при керосиновом фонаре. К утру сливал все в бутыль, закапывал в огороде десятилитровую посудинку. Самогонный аппарат, эту «бешеную коровку», как ласково называл он, надежно прятал на сеновале, закрывая остатками сена.

Как-то раз приехал на мотоцикле участковый с собакой в люльке, все чего-то высматривал, разговаривал со старухами, с Петей.

А Серафим в это время наблюдал из окна. Трусливо билось сердце, как назло, он «махнул черепушку». Заедая лавровым листом, зажевывая сырой картошкой, он ждал, что вот-вот подкатит к его дому, кинется с обыском.

И Нюра была дома. Она вошла в дом со двора, спросила мужа:

– Ты чево там? Кого увидел-то?

– Тише, участковый приехал, чего это его принесло, – сипло шикнул Серафим, хотя до милиционера было метров двести. – Тише... Ты тут проторчи у окна, а я в крапиву спрячусь в огороде. Серафим побежал прятаться, а Нюра села на лавку, лузгала семечки, следила за участковым. Тарахтя мотором, объезжая дорожные заглохшие колеи, участковый подкатил к палисаднику и, не заглушив мотора, крикнул:

– Тетя Нюра, принеси кваску!

Нюра полезла в холодильник, нацелила из банки ковш кваса и, подавая пить, спросила:

– Где так утомились, Сергей Васильич?

– Да вишь, какая жара, спасу нет...

Собака-волкодав не сводила глаз с Нюры. И почему-то этого собачьего взгляда Нюра испугалась больше всего.

– Чего приезжали-то? – спросила она, думая, надежно ли спрятался Серафим.

– Тут вчера не проходили двое, иконы не спрашивали?

– Не видала.

– И пропажи никакой нету?

– Нету, нету...

Участковый прибавил газ и покати, поднимая пыль.

Серафим выскочил из крапивы:

– Чево он? Чево спрашивал-то? Участковый-то?

– Каких-то ребят ищет. Ну и трус же ты, однако, а надо бы тебя приструнить, разит, как из бутылки.

– Не пил, не пил, – сипел Серафим. – Ты же видишь, тверезый.

Волчихины все лето собирались переезжать. И Нюра, и Серафим в августе смотрели дом. Крыша блестела краской, ново белела печь в кухне, грубка величественно зияла, полы были заново перестелены, стены оштукатурены. Оставалось наклеить обои, приладить сенцы из горбыля, сколотить из горбыля же по бедности сарай-временку для дров и угля. Водяное отопление провели только к новым многоэтажным домам. Нюра и Серафим часами ходили, смотрели и были довольны. «Слава Богу, слава Богу», – твердила Нюра. Были кое-какие недоделки, о них говорили Осоедову: «Смотри там, земляк, чтоб...» Осоедов только посмеивался, подмигивая Серафиму:

– Деньжата готовьте с бригадой расплатиться... Я не тороплю, мужики спрашивают.

Нюра, счастливая, урывками собиралась к отъезду. Поздними вечерами принималась она складывать пожитки, скрипела крышкой кованого сундука. С окон сняла занавески, постирала, погладила. Серафим складывал инструмент: молотки, топоры, ножовку... В мешках, в наволочках – обувь, новая и вычищенная старая. Сундук набили до отказа. Старую мебель перетасили к бабке Тыриной.

– Бери, мамка, бери, – говорил Серафим. – Бери, все тебе оставляю, а то все жалишься, сын плохой...

– На кой мне, куда? – отвечала старуха. – Помру я тут, чую, не своей смертью, замерзну...

– Чево-о, чево-о, замерзнешь? Да я же тебе оставил дрова, мать. Кончатся дрова – баню ломай и туда же... Петю позови, поможет. Приеду... Когда-нибудь. Не за морями-окиянами. Чево все плачешь, рыдаешь?

Глубокой осенью продали всю живность, продали корову. Уводили на веревке, ревела – сердце рвала; вытащили из погреба все соленья, варенья. Серафим с сыном заколотили окна, заперли на завал тесовые ворота, навесили амбарные замки. Под вечер, солнце уж закатывалось, подкатил грузовик, нанятый Серафимом. Волчихины с бранью грузили, складывали все пожитки в кузов.

Ольховские сгрудились, стояли чуть поодаль. И вновь бабка Тырина залилась горячими слезами, с причтом рыдала: «Одна-одиношенька остаюсь... Замерзну тут, волки рысучие растерзают...»

– Смолкни! – оборвал Серафим мать. – Чево ты все ноешь под руку! Сказал, что приеду, помогу...

Антон ухватился за шаткий борт грузовика: прощайте, сады, прощай, осень. Машина срывается в балку. Грузовик уже в потемках тянул Волчихиных в город, а ольховские долго не расходились, судили-рядили, кого даст управляющий взамен Волчихиных...

Зима стояла сиротская. Лишь в декабре, перед самым Новым годом, ударили морозы, понесло то снегом, то крупной, развернула зима свои белые холсты. Завьюжило всю окраину, пегие кладбищенские кусты и кресты все чаще затягивало метелью, и весь хлам у канавы особняка, и прах, что валялся

под окнами Волчихиных. Возле забора росли снежные горки, завалило палисадник перед окнами. Антон привыкал к городской жизни, к соседям. Работал шофером на стройке, в одном СМУ с Осоедовым. Все вечера околачивался то в видеосалонах, то в женском общепитии. В выходные дни уходил на лыжах в березовую рощу, раза три навещал ольховских...

Эта городская окраина была чем-то схожа с большой деревней. Но Волчихины – и отец, и мать – трудно осваивались здесь. Каждый день вспоминали Ольховку. И когда Антон приходил на лыжах, бодро сообщал, что «был дома», отец и мать оживали, спрашивали: «Ну как там наши, ольховские, все живы?» – «Живы-то живы, да у Пети волки ягнят растаскали... Занесло Ольховку, дороги – на лыжах не пробьешься», – отвечал Антон.

Поздними вечерами Волчихины собирались вместе. До глубокой ночи жарко топилась печь, к ночи в кирпичном доме становилось угарно, и до самого утра слышались тревожные голоса электричек, маневровых поездов; как из-под земли, стучали колеса тяжелых наливных составов. Привыкшие к глухим деревенским ночам, Волчихины долго не могли уснуть. В доме стоял тяжелый запах все еще не просохших кирпичей, глины, несло угаром из печи. Теперь отец и сын работали вместе, Осоедов пристроил Серафима в бригаду плотником. Нюра работала уборщицей в школе, но зарплату задерживали, а своего хозяйства теперь не было. Семья, как говорят, еле-еле сводила концы с концами – где уж там откладывать деньги на уплату долгов.

Второпях: лишь бы, лишь бы – распродали Волчихины живность по дешевке, не оставив себе и пуда сала. Пяток гусей зарубили и посолили... Да очень скоро и определили. Зато картошкой запаслись на всю зиму. Однообразие в питании не тяготило семью – все они привыкли, родились и жили на деревенской пище, не думали о разнообразиях, а думали, как одеть-обуть жениха – Антона по-городскому; кроме дипломата и куртки, с которыми он демобилизовался, нужно было многое; отец подумывал, что вот-вот Антон, отстрадавший по Любаше, приведет в дом жену, благо места стало много, на детей и на внуков – на всех хватит... Покупали уголь, дрова; печь, как говорила Нюра, «жором жрет все подряд, а тепла нету».

Все бы и ничего, жить можно, да зачастили за долгами ольховские, добирался Петя Дрова-Нога, просили родственники Нюры. Серафим похудел, осунулся. Прятал глаза, когда кто-то из ольховских укорял его и Нюру: «Такого никогда не было в деревне, чтобы пообещать и не отдать долг». Серафим надеялся, что продаст сено. Но никто не купил стожок, который он сметал летом. В Ольховке он один держал корову, а в соседних деревнях – поди узнай, кто купит, кто повезет. Навязывали новому хозяину Звездочки, тот даже удивился:

– Сено купить? Да теперь гуляй-поле со всех сторон. Поля брошены, не высевают, трава вольная, во – по грудь, коси не ленись. Дешевле накосить, чем везти: октябрь-грязник, он ни колеса, ни полоза не любит...

Темными глубокими ночами Серафим просыпался от грохота составов и тоскливых гудков

маневровых. Ворочался. Просыпалась и Нюра, неслышно, босая, проходила в кухню, черпала воды или кваса.

– Не пей из ковша, – подтрунивал отец, – не пей из ковша, муж рябой будет...

Антон слышал в ночи, как сипло смеялся отец, невесело, как вспыхивала мать, огрызаясь, и начиналось все снова: о долгах, о деньгах. «Это все из-за тебя, Нюраха. Говорят умные люди, бабу послушай и сделай наоборот. Женщина сотворена из чего? Из ребра. А в ребре мозгу нету... Говорил тебе, дуре: потерпи, потерпи. Подождем, денег наберем, тогда и... А ты все свое: моченьки моей нету, грыжи...» – «Да ведь три года ждали, копили, сколько же еще ждать? Тебя не поймешь: то так, то сяк, получилось наперекосьяк... Неудачник ты!» – «А ты – удачница! На рынке мясо тридцать семь рублей кило. Вот доели свое, побегаешь теперь на рынок». – «И сбегая, было бы на что...» – «Вот то-то и оно-то, «на что»! На вши!...» – бубнил Серафим.

Волчихину-отцу быстро опротивела эта городская окраина, не любил он и центральные улицы, с такими грязными серыми домами, что тоска брала. И только несколько банков в городе, филиалы столичных, были вызывающе, неприлично ярко и богато оштукатурены.

Осенью асфальт покрывался грязью от колес автомашин и тракторов – сплошь разбитый... Летом тучи черной пыли поднимались от дуновения ветра. Нет, не любил он город. С его толчеей, давкой в магазинах, бранью инородцев в пивных, беженцев на вокзалах. Тяжелый, ходил он вразвалку, любил размеренную жизнь, без суеты;

райцентр называл «вонючкой, парашей», закусовые – «обдираловкой, слюнявкой»...

– За червонец не пообедаешь! – жаловался он Осоедову, когда закусывали в столовой.

В выходные дни Нюра с трудом вытаскивала мужа в город. Маленькая, шустрая, затесавшись в магазинную давку, работая локтями и плечами, пробиралась к прилавкам, смотрела на платья, кофты, почти всегда уходила ни с чем. А Серафим в это время ждал ее и курил у выхода из магазина.

– Дорого, – говорила Нюра, запахиваясь на ветру в пальтишко на рыбьем меху. – Купила бы, да денег нет.

– А чево продают?

– Да все тут продают, деньги нужны... Ну, пошли, что ли?

Как-то раз, перед Новым годом, зашел к Волчихиным Осоедов.

Подвыпивший, ввалился он в дверь и стал у порога – в дорогой шубе, шапке, в высоких сапогах на меху, в руках – сумка на молнии. Широкая грудь, костистая, не боится мороза; шея пробковая краснеет.

– Привет, земляки! – затрубил он басом. – Не вижу подготовки к празднику! Ишь, носы повесили, ха-ха-ха...

От него несло водкой и морозом; жизнерадостный, краснолицый, горбоносый, стоял в разудало-задумчивой позе, и Нюра глаз не могла от него оторвать. А Серафим проворчал: «Здорово», – и отвернулся. Снимая с себя шубу, шапку, подтягивая вверх пестрый спущенный галстук, сел Осоедов в низкое кресло так широко и важно, как сажались в СМУ большие начальники. Нюра смутилась, покраснела, заторопилась в кухню.

– Ничего не надо, Нюранчик, – сказал Осоедов по-деревенски, как звал когда-то Нюру в школе. – Ничего не надо, только стаканы поставь...

Из сумки-самосвала Иван Осоедов вынул каталку копченой колбасы, сыр, форель в ломтиках, банку сельди под яблочным соусом, сардины и черную икру... Нюра стояла и смотрела на закуску с восхищенным вниманием, скрестив на груди руки. Вино «Медок» и «Совиньон», виски ставил он со стуком и бряком. В доме было просторно и светло, точно это Осоедов принес с собой света, словно бы и перестали угарно чадить дрова; пол блестел и пованивал краской, ново белела печь. Осоедов шурился от яркой, в пять лампочек, люстры. До полуночи говорили, вспоминали детство, Ольховку, удивительные случаи и причудливые характеры земляков, родные гнезда.

– ...А по мне – дак тут лучше. Жизнь как-то содержательней: там пивка попьешь, тут – винца, – с приятной развязностью, то и дело вынимая из кармана платок и смачно сморкаясь, твердил Иван. – Нюранчик, день как миг: то в пивняк, то на шабашку... А ты чево так затужил? – в упор глядя на Серафима, спросил он. – Ходишь, как чево потерял, а-а, понимаю, но-стальгия... Ха-ха-ха... Вон какой домище оторвали мы с тобой. Не тужи, прорвемся! Не дом, а особняк, хоромы! И детям, и внукам, и правнукам годится...

– Особняк-то особняк... – смиренно соглашался Серафим. – В долгах как в шелках. Долги отдать к Новому году – крайний срок, а при наших зарплатах – и к следующему не отдать. Стыд и срам.

В лицо глядеть стыдно. Сами ходят и ходят... за своими деньгами...

– Бро-ось, затужил! Пусть ходят! – блестя лысиной, играя острыми черными глазами, говорил Иван. – Сколько надо? Три с половиной? Завтра будут у тебя эти деньги. Ха!

– Дать-то ты дашь, спасибо, – горестно вздыхал Серафим. – Да ведь и тебе надо отдавать к сроку?

– Я подожду до весны, я сегодня добрый. Дам просто так, в долларах, без процента. В долларах и вернешь, устроит? Не горюй, со мной не пропадешь.

Все больше хмелея, Осоедов толкнул ногой по валенку Серафима.

– Нюра, выйди-ка на минуту. И ты, Антон, тоже. Покури там, покрути магнитофон. Фу, черт, жара, мокрый весь, плесни-ка грамм сто. А я к тебе с предложением...

Осоедов расстегнул рубашку, галстук висел на груди низко, под домашнему. Стряхнул с воротника, с шапки воду от потаявшего снега. Выпил, проглотил и спросил, глядя прямо в глаза Серафиму:

– А ты на сколько застраховался?

– Дом? – переспросил Серафим, не понимая, куда Осоедов гнет.

– И дом, и постройки, все про все? Тут Антон включил проигрыватель, и понеслось знакомое:

*Де-енежки!
Как я люблю вас,
Мои денежки!..*

– Выключи, выключи! – гаркнул Осоедов.

– Застрахован-то? Так... Дом, сарай, банешка. Так, как и было, обязательная и вольная. В этом году – побольше мал-мал. Времена-то какие, темные... Тыщ на семнадцать-шестнадцать. Да где-то полюс был. – Серафим встал, но Осоедов одернул его, усадил силой, дернув за рукав:

– Сиди, не надо. Не «полюс», а полис... Я лучше тебя знаю, понял? А так – раз – и Антона оденешь, обуешь, женишь, долг мне и деревенским отдашь, да еще и на исподнее тебе и Нюре останется... Что рот разинул?..

– Да ты чево? – Серафим воровато оглянулся. – Ты чево толкуешь-то?

– Сам знаешь, «чево». Боишься? А ты не трусь... Надо сжигать мосты, а то того... А то ностальгия замучает, – перешел на шепот Осо-

едов. – Там и глядеть-то на тебя некому. Кидай мне на лапу половину, баш на баш – я живо спалю, раз ты такой чистоплюй... Кидаешь? Половину?

– А-а, ты свой-то спалил?.. Вот в деревне и разговору-то было. Много деньжонок отхватил...

– Тише ты. Нужда, черт бы тебя. Ну, допустим, ну и что? Я даю тебе займы, понял? Все беру на себя, понял?..

– Нет, ты скажи, скажи, – Серафим дымил сигаретой.

– А что, пойдешь доказывать? – Может, и пойду.

Осоедов откинулся на кресле, с интересом глядя на соседа:

– Ну ты и зараза... Ладно, Нужда, больно не гоношись. Как знаешь, как знаешь. Это я так, хотел просветить тебя, посоветоваться. Чего ты, все за чистую монету, что ли? Ладно, пойду я. Нюранчик, ты где? Проводи-ка меня! – Осоедов,

блестя глазами, хмельно и трудно втягивая в себя воздух, стал собираться. Нюра с интересом и удовольствием глядела на гостя.

– Это заберу, – сказал он, закидывая в сумку бутылку дорогого недопитого виски. – А ты подумай, Нужда. А сказал я тебе дело. Нет – был Нуждой, Нуждой и останешься. Ты Нужда, а я Шельма, ныне все шельмы, жисть такая настала. Власть вон как хапает, и заметь: чужое. А ты свое не можешь взять...

– «Свое»! – Серафим тоже встал, отворил форточку. – Это свое дорого обойтись может. Приварят так, что довеку не забудешь. Оне «там», сосенки-то, не вершинками вниз растут...

– Как знаешь. Мое дело – предложить, твое – отказаться. Ну, прощайте, увидимся. Ну, думай. Надумаешь – пересечемся или – я тебе ничего не говорил...

Дверь хлопнула громко, недружественно. Вошёл Антон.

– Вы чего тут, поссорились?

Серафим стоял перед открытой форточкой бледный, мрачный и больной. Пурга бормотала, гуляла по крыше, пахло снегом и хмельным.

– Чево вы тут, поругались? – Нюра зябко ежилась под тонкой кофтой. Повернулась, острые позвонки дудкой, натянулся узел истертых плеч...

– Ничего, так, поговорили. В долг дает три с половиной.

– Неуж?

– Благодетель, кумир твой...

– Ты – кумир! – Нюра убиралась со стола, стучала посудой. – Видно сову по полету. Жил старик со старухой, у них был семерик с осьмухой... Вон смотри, дружок твой, тоже наш деревенский,

а сухую колбаску достает, икру черную, балычок... Без денег – бездельник... А одет-то как, и где люди достают все? О чем говоришь, чего ты глазами-то хлопаешь?

– Про перестройку, про реформы говорили. Газеты надо читать...

Нюра вытирала стол:

– А чего их читать, и так известно. Жрать всенародно нечего, даже всесоюзно. Все лопаты, мотыги друг у друга поворовали, разложение конституционное...

Серафим смотрел в окно. Далекие огни семафоров горели зеленым и яркими рубинами. В открытую форточку залетали редкие крупные снежинки. Палисадник окунуло во тьму, окутало снегом станцию. Перекликались электрички мрачно. От выпитой водки и пива стучало в висках. Между тем Нюра все говорила и говорила об одном, все о том же: какой Иван Осоедов ходовой мужик, недаром его прозвали в детстве Шельмой, живет в городе два года, а все имеет: и машину, и дачу, и любовницу завел...

– ...Спать стели! – резко оборвал Серафим жену. – Полночь на дворе, завтра на работу, чего муку молоть.

Антон, чтобы ничего не слышать, прибавил громкость магнитофона и полез в кровать. Серафим кинулся к двери:

– Выключи, выключи!

Часы пробили четверть первого. Укладывались спать. И эту ночь, как и прошлую, Серафим ворочался с боку на бок. Часто стал видеть он в коротких и прерывистых снах, как в тифу, – стал видеть старых, уже отошедших друзей, пугал жену пересказами этих снов. Глядели на него безмолвно в пустой тишине полные слез глаза

ее, каменело лицо. Во сне все открывалось ему так ясно и понятно, но просыпался и забывал и сразу чувствовал себя несчастным, чужим всем. Вот и на этот раз Нюра вдруг вскочила, постлала себе на диване. Сложный запах вина, табака из пепельницы, перегоревшего лука, штукатурки и еще чего-то сложного, как если взять и разлить, смешать со свежей краской и ацетоном подсолнечное масло, – стойко держался в доме. И только что забылся – затрещал будильник. Не завтракая, наглотавшись студеной воды из-под крана, оделся и ушел на стройку.

Во второй половине дня Серафим отпросился у Осоедова, а часа в три пополудни забежал в магазин, купил канистру на двадцать литров, поймал знакомого шофера и налил полную, под пробку, бензина на три червонца.

Дома было пусто, Нюра ушла в школу, сын не вернулся из гаража. Серафим с тоской постоял у окна – никого... «Ай не ходить?..» Была какая-то тяжесть на сердце – поговорить, поделиться. Лишь снежок валил и валил, как из пропасти, сверкал и колол. Он переодел носки, не раздеваясь, отыскал солдатский вещмешок Антона, опустил в него канистру с бензином, каменной тяжести. Затянул удавкой покрепче. Постоял, подумал, вытащил из холодильника недопитую бутылку водки, налил в стакан и осушил до дна, даже не задохнувшись. Руки его тряслись, холодный пот выступил на лбу. Странно: водка имела слабый вкус и не дала желанного облегчения. Он выпил еще, допил остатки, закусил коркой хлеба с солью. И уже не думая о водке, решительно, со смелостью хмелеющего, вскинул

вещмешок на плечи, поймал вторую лямку на ходу, вышел и запер дверь на ключ.

Шел он напрямки, тропинкой в сторону молодого березового леса, вышел на большак. Остановился, закурил. Сердце колотилось от водки, бессонницы, от страха. Ветер задувал за помятый лямками воротник, тянуло вернуться домой, выспаться, подумать, решить все сначала. Он поднимал руку, грузовики проходили мимо с включенными фарами. Изменчивый зимний день стал серым, с мелким снежком, рано наливался вечерними сумерками; дали утопали в черноте. Наконец-то остановился самосвал. Незнакомый молодой шофер спросил закурить. Серафим дал ему три сигареты, дотянуть до конца работы. Ехали молча. Серафим сидел в кабине, как больной. Пошатывалась канистра в ногах. Молодой шофер куда-то спешил, гнал и гнал по большаку.

– Остановись, я вылезу, – тронул его Серафим.

– Тебе же в Прохоровку, – удивился шофер, – рано еще...

– Не рано, душа рада, – норовя отшутиться, ответил. – Держи, – он протянул шоферу пятьдесят, тот не взял, хлопнул дверью и уехал.

Волчихин долго искал тракторную колею на Ольховку. Было уже совсем глухо, черно. Закурились, занавесились дали. Натыкаясь на закрайки глубокого снега, шел ходко, норовя вернуться домой до свету. Шел какой-нибудь час, а ему казалось – вечность. В открытом поле резче подул боковой ветер, в лицо несло снегом.

Подшитые валенки закостенели, скользили в колее. Раза два он падал, вставал. И где-то на

полпути почувствовал на спине влажный холодок и запах бензина. Стянув на ходу рукавицы, он нащупал вещмешок: ну так и есть – канистра, новая, подтекала, пропускала бензин через резьбу, когда он падал. Скинув вещмешок, он завернул крышку покрепче, понес ее в руке.

И когда показался в деревне огонек лампочки, пошел смелее, на этот свет, к своему огороду. Он знал, что лампочка светила на столбе возле скотного двора и надо забирать чуть левее, к выгону. Подходя к загородке из жердей, он остановился, посмотрел на Ольховку. Очертания домов просматривались как тени. Хотелось закурить, отдохнуть, но он порывисто перелез через загородь и пошел к подворью. Перед тесовыми воротами он остановился и только тут вспомнил, что завалил их и зашил тесинами крепко-накрепко. Минуту-другую на ощупь поискал гнилые тесины забора, нашел и, поднатужившись, оторвал три доски. Ржавые гвозди скрипнули. Он замер на месте, оглянулся. Тихо и черно было. Только за огородами все так же одиноко светила лампочка. Серафим с трудом протиснул свое тучное тело, кое-как пролез в забор, и, пробиваясь по сугробам подворья, подошел к сенцам, отпер сенную дверь. Крыльцо было завалено снегом. «Хорошо, что идет снег, – подумал Серафим, – завалит следы...»

Отложив вещмешок в сторону, он зажег спичку, нашел огарок стеариновой свечи, открыл дверь в кухню и поставил свечу на худое опрокинутое ведро. Окна были зашиты крепко-накрепко, угнетающая тишина стояла в доме, каждый шаг пугал Серафима. Он отвернул

пробку канистры, прошел в горницу, как попало плескал по углам; потом, пятась назад, лил, уходя в кухню. И когда осушил канистру, с минуту постоял в оцепенении, шалея от тишины, от страха и густого запаха бензина. Потом, как бы очнувшись, с остервенением кинул в передний угол пустую канистру. Плохо соображая, вытащил дрожащими руками коробок спичек, чиркнул и кинул на бензин. Спичка потухла, не долетев до лужи. Он вытащил из коробка несколько штук и, слегка согнувшись, бросил влево, к грубке.

С быстротой молнии пыхнуло, взметнулось пламя, кинулось в углы. Он отшатнулся, заступил высокий порог, споткнулся и упал, и, чувствуя нестерпимую боль в коленках и на лице, как ужаленный перевернулся на четвереньки. Загорелось на спине, проникая под исподнее, резануло адской болью. С ловкостью зверя, подползая к дверям, боднул скобу головой, вскочил на ноги, кинулся с крыльца в снег. Катаясь по сугробам, Серафим все крепился, сдерживал себя. И чувствуя конец, рвал на себе полушубок, исподнюю рубашку, заорал отчаянно: «Помогите, помогите!»

По заснеженному двору валялись тлевшие полушубок, валенки, шапка. Высокое пламя взметнулось на крышу, в доме что-то трещало и гудело под порывами ветра. Занялась крыша сарая, хлева. Двор осветило яркое зарево, искры неслись по всему подворью. Улица озарилась ярким светом полуденного пожара. Собаки, поджав хвосты, сголчились стайкой, тоскливо завывали на всю улицу.

Старуха Тырина, мучаясь бессонницей, встала и глянула в окно.

«Ба-атюшки-светы! Волчихины горят!» – проговорила она и включила свет, собираясь бежать, хватая ведро с водой. Шустро, без ба-тожка, принесла она ведро воды. И все, кто были, засмеялись над ней: дом-то занялся, и дворовые постройки горели.

Петя Бухалов, оставив протезную ногу, колотил обухом топора по замку запертых уличных ворот. С крыши дома летели головешки от стропил и решетника. И когда он сбил замок, с пьяной матерщиной кинулся во двор – не сразу узнал Серафима. На нем уже тлели штаны, лежал он по пояс голый, извиваясь, как уж.

Опасно было стоять тут, возле дома. Петя с трудом потащил Серафима волоком по снегу в палисадник; подошли старухи и, подняв Серафима, вынесли его за частокол. «Ой, ой!..» – стоном сто-нал Серафим.

– Сынок, желанный, не помирай! – озаренная пламенем, кричала старуха Тырина. – Я тебе помогу, не помирай!

И бабка, как будто в нее влили силы, молодую горячую кровь, носилась в озаренной жаркой ночи, загораживаясь от яркого света, прикладывая ко лбу руку козырьком.

– Петя, беги на скотный двор, запрягай кобылу! – командовала

бабка. – Беги, кормилец, сын помирает!

Петя Дрова-Нога заковылял за-снеженной улицей запрягать. Баб-ка, натыкаясь на сугробы, побежала в избу. Притащила засаленное лоскутное одеяло, тулуп в разноцветных заплатках. Ей помогали старухи, стелили тулуп. Серафим лежал вверх лицом, как мертвый. На оголенной спине и боках кожа лезла клоками, вздулись пузыри. И когда старухи, кряхтя и охая, укладывали Серафима на тулуп, он бормотал в бреду: «Пить, пить, горю я...»

Петю ждали нетерпеливо, все глядели в черноту ночи. Приехал он на санях-розвальнях, поскрипывая новыми слегами, снегом, будто бы в гробовой тишине. В передке саней лежала большая охалка пахучего свежего сена. Серафима уложили на сено, накрыли одеялом. Петя в передке саней, с колен хлыстнул кобылу кнутом и покатыл.

А снег валил и валил, ветер раздувал пожар, искры летели над огородом, воспаленно краснели обгорелые бревна. Старухи с плачем расходились по домам, и вдруг с треском обрушилось стропило хлева, посыпались бревна, щепы, раскатился сруб. И никто не знал, как в эту глухую полночь Серафим оказался в Ольховке...

